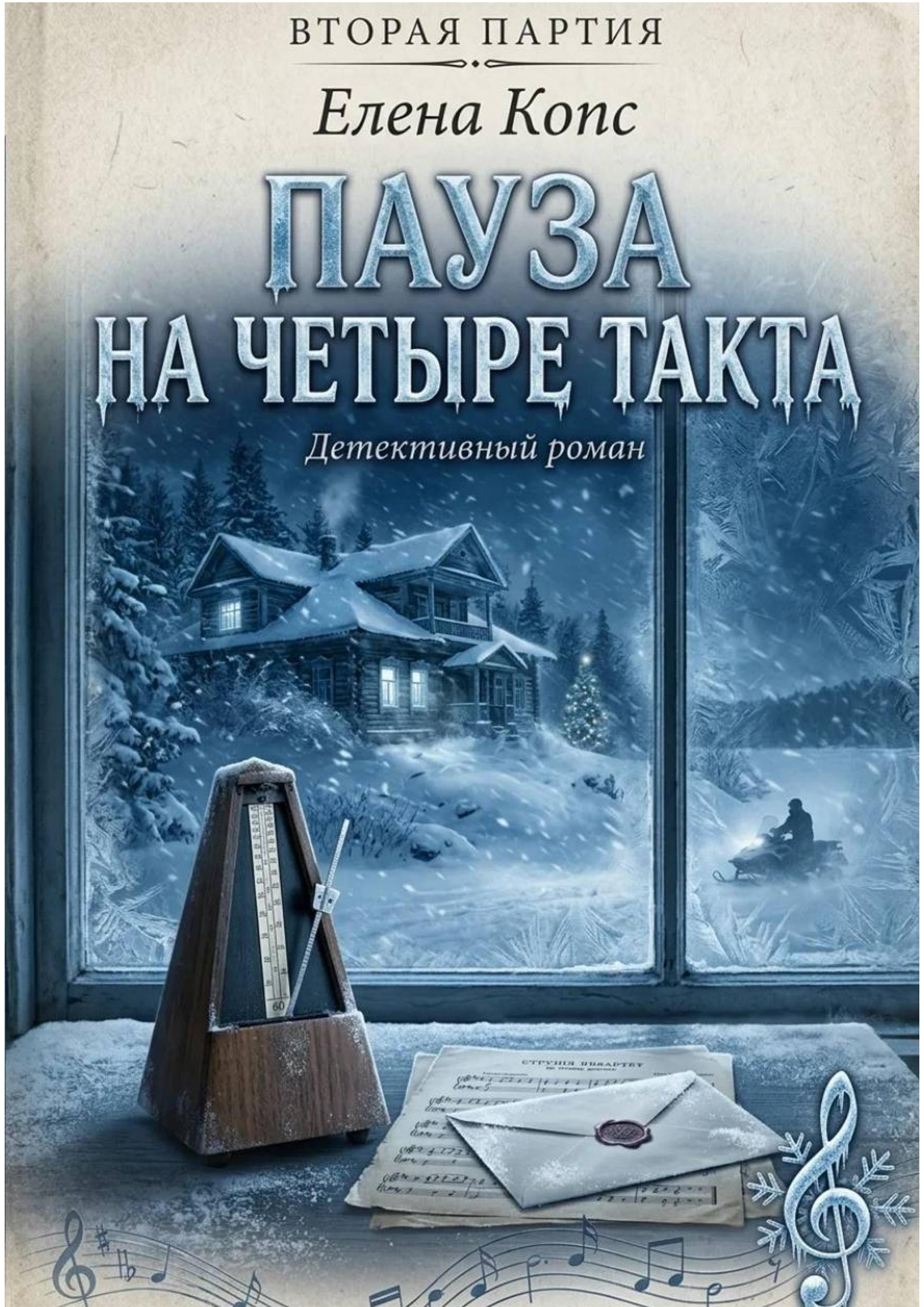
ВТОРАЯ ПАРТИЯ

Елена Копс

ПАУЗА НА ЧЕТЫРЕ ТАКТА

Детективный роман



Елена Копс

Вторая партия. Пауза на четыре такта

«Автор»
2026

Копс Е.

Вторая партия. Пауза на четыре такта / Е. Копс — «Автор», 2026

Зимний Валдай, отрезанная метелью усадьба «Белая Берёза» и атмосфера изолированного музыкального фестиваля. Альтистка Варвара Миронова приезжает сюда в качестве члена жюри, рассчитывая лишь слушать чужие партии и оставаться в тени. Но снежный циклон наглухо заносит дороги и отключает связь, а по дому начинают ходить анонимные письма, отпечатанные на старой печатной машинке. В каждом из них — цитата из прошлых разгромных рецензий всесильного критика Бельского.В замкнутом пространстве старого дома, где у каждого — своя тайна и давняя обида, Варваре предстоит научиться слышать чужую боль, распутать узел чужих тайн и наконец обрести собственный голос.«Пауза на четыре такта» — третья книга из пяти в детективно-психологической серии «Вторая партия». Это атмосферный роман о поиске себя, скрытых семейных драмах и чувствах, которые пробиваются сквозь самую суровую метель.

© Копс Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 22
Глава 3 40
Конец ознакомительного фрагмента. 55

Елена Копс
Вторая партия. Пауза на четыре такта

Глава 1

Оттепель, державшаяся почти полтора месяца, кончилась в одну ночь, и Варвара узнала об этом не по градуснику, а по звуку. В четверг вечером крыша ещё хлюпала и капала, новый лист на ней отзывался на каждую каплю неровно, как плохо настроенная струна, а к утру пятницы всё смолкло: вода на железе встала льдом, и дом оказался в такой плотной тишине, что было слышно, как в гостиной идёт маятник. Она проснулась от этой тишины раньше будильника и лежала с закрытыми глазами, пытаясь понять, чего ей не хватает. Потом поняла: звона. Круглое окно в торце мансарды заросло изнутри белыми перьями, они лезли от рамы к стеклу пушистыми хвойными лапами, и сквозь них едва угадывался серый рассвет, в котором не было ни ветра, ни птиц, ни облаков.

Радио на кухне обещало двадцать ниже нуля к ночи. Эмилия Карловна, которая слушала прогноз стоя, с мундштуком в углу рта и чашкой в руке, сказала «врут» и тут же пошла проверять, есть ли в погребе на лестнице дрова для печки в гостиной. Врали, как выяснилось, в обратную сторону: к полудню на градуснике за окном было уже двадцать два мороза, и Бемоль, которого выпустили на минуту во двор, вернулся с поджатой лапой и укоризненным взглядом человека, которому испортили праздник. Тётя связала ему на прошлой неделе жилетку из остатков серой шерсти, с косичками на спине, и он ходил в ней по дому с выражением мученика, смирившегося с тем, что тёплое и достойное редко совпадают. Фуга сидела на холодильнике и смотрела на жилетку единственным зелёным глазом, и всякий раз, когда он проходил мимо, коротко, гортанно кашляла.

Дом пах яблоками. Это уже стало нормой, как скрип третьей ступеньки на лестнице и хлопок колонки в ванной: из погреба тянуло сладким, чуть бродящим духом, и из кухни тоже, потому что Эмилия Карловна пекла с самого утра. Варвара спустилась в девятом часу и застала тётю у стола, в муке до локтей, с красным от печки лицом и с такой решимостью в глазах, какая бывает у людей, затеявших уборку перед приездом гостей. Гостей ждали. Тридцатого приезжала Зинаида Петровна с Костей, второго января Даша, дочь Николая Андреевича, на каникулы, а в промежутке Тамара обещала «заскочить на двое суток с виолончелью и мнением», и пирогов на всё это нужно было столько, что Варвара, пересчитывая в уме ящики с антоновкой в погребе, невольно подумала: хватит ли.

Николай Андреевич с утра колол дрова. Она видела его из окна кухни: он стоял у чурбака в сером свитере, без шапки, и пар от дыхания поднимался над головой ровным столбом. Боцман сидел на самой верхушке поленницы, свернувшись шаром, и вид имел такой, будто сам распорядился о погоде. С Николаем Андреевичем вообще происходило что-то хорошее, и она это замечала, не торопясь называть. Месяц он жил в комнате, выходившей окнами на овраг, и за этот месяц в доме появилось столько всего, о чём никто не просил и что оказалось необходимым: перебранная печь, подбитая дверца погреба, новая ручка на кухонном шкафу, два зимних стекла на веранде, которые он вставил между делом, пока Варвара раздумывала, не позвонить ли мастеру. Он делал это молча, ничего не объясняя, и в какой-то момент она поймала себя на том, что просто ждёт утра, потому что утром во дворе будет стучать топор.

Телефон лежал на подоконнике экраном вниз. Ловил он на этой кухне плохо, одной палочкой, да и то если стоять у окна и не шевелиться, и Варвара давно привыкла, что звонки приходят волнами: сперва пять сообщений разом, потом тишина на полдня. Она выпила кофе, съела пирожок, который тётя незаметно подвинула к ней по клеёнке, и пошла наверх за альтом, потому что с одиннадцати должен был прийти Герман.

Герман приходил по пятницам. Это завелось само, без договорённости: в первое воскресенье после поминок он постучал в окно кухни, красный, с тетрадью, и сказал, что хочет попробовать «что-нибудь с лаком и струнами». Варвара принесла ему из чулана старый ученический альт, который достался ей когда-то от училища и лет двадцать лежал в футляре под кроватью, показала, как держать смычок, и через пять минут стало ясно: у него ужасные руки для скрипичных, длинные, нескладные, с торчащими суставами, но слух оказался такой точный, что он сам морщился, когда нота не попадала. «Я рисую звук, – объяснил он на втором уроке. – Мне надо, чтобы он был на месте». Она не стала говорить, что так и должно быть. Теперь он приезжал по пятницам на велосипеде, укутанный в шарф до глаз, и они час занимались в гостиной у печки, под присмотром Эмилии Карловны, которая сидела в кресле с вязанием и делала вид, что не слушает.

В половине двенадцатого, когда Герман пилил открытое ре на втором часу занятий, а тётя на пятой петле сбилась со счёта, в кармане джинсов у Варвары дрогнул телефон. Она вынула его, посмотрела на экран. Незнакомый номер с кодом Новгородской области. Она хотела сбросить, потом передумала, сказала Герману «продолжай, только мягче» и пошла на веранду, где было холодно, но ловило получше.

– Алло.

– Варвара Сергеевна Миронова? – спросил женский голос.

Голос был спокойный, чуть низковатый, очень ровный, из тех, что на любом конце провода звучат как диктор в метро: каждое слово стояло на своём месте и не торопило следующее. Варвара ответила «да».

– Меня зовут Лидия Орлова, я секретарь жюри зимнего фестиваля «Белая Берёза». Простите за беспокойство. Мне передали ваш номер как номер человека, который может нас выручить. У вас есть пять минут?

– Есть.

– Благодарю. Я буду краткой.

Она и была краткой. Фестиваль, сообщила Лидия, проходит в усадьбе «Белая Берёза» на Валдае уже в восьмой раз, с двадцать восьмого декабря по третье января, участвуют молодые исполнители из одиннадцати городов, фортепиано, струнные, камерные ансамбли. Жюри состоит из четырёх человек: Эдуард Львович Бельский, музыкальный критик, председатель; Всеволод Николаевич Лавров, композитор; Дмитрий Резников, дирижёр; и профессор Ольга Марковна Ревзина, альт. Вчера вечером Ольга Марковна слегла. Грипп, температура тридцать девять, врач запретил вставать. Фестиваль начинается завтра в четыре часа дня.

Варвара стояла на веранде, прижимая телефон к уху, и чувствовала, как по спине, под свитером, ползёт холодок, не от стужи. Ольга Марковна Ревзина. Она не слышала это имя вслух лет пять, а в голове оно отозвалось мгновенно, всем телом, как отзывается рука на давно знакомую аппликатуру: сухая, прямая, седая женщина с папиросой, которая в училище вела класс альта и однажды, когда шестнадцатилетняя Варя Миронова сыграла Хиндемита безупречно и с такой неохотой, будто возвращала долг, сказала: «Ты играешь так, как будто извиняешься за каждую ноту. Не извиняйся. Они не твои, их написал Хиндемит». Варвара тогда обиделась на два месяца. Потом поняла.

– Ольга Марковна просила меня позвонить вам, – продолжала Лидия, и в голосе её не было ни пауз, ни вопросов. – Лично. Она сказала: «Позвоните Мироновой, пусть она сядет вместо меня». Я возразила, что вы не преподаёте и в жюри не заседали. Она сказала: «Варя слышит больше, чем говорит. Пусть слушает, остальным будет полезно».

– Она так сказала?

– Дословно. Я записала.

Что-то горячее и неловкое поднялось у Варвары к горлу. Она отвернулась к цветным стёклам веранды, и красный квадрат лёг ей на руку, как пятно.

– Лидия, я не... – Она запнулась, начала сначала. – Я не умею оценивать. Я никогда никого не судила. Я альтистка. Я всю жизнь сидела во втором ряду и слушала других.

– Вот именно, – сказала Лидия.

– Простите?

– Для жюри это лучшая квалификация. – Она сказала это так же ровно, без улыбки в голосе, и на секунду Варвара не поняла, шутка это или нет. – Остальные члены жюри, как правило, слушают себя. Условия такие: проезд оплачивается, проживание в усадьбе, питание, гонорар сорок пять тысяч за пять дней. За вами заедет минивэнс от фестиваля в Москве, двадцать восьмого, в двенадцать у Ленинградского вокзала. Обратно третьего января вечером. Если дороги позволят. Простите, это формулировка Романа Игоревича, владельца. Он очень осторожен насчёт погоды.

– А что с погодой?

– К тридцатому ждут циклон. Но «Белая Берёза» стоит на возвышенности, и, как правило, нас не заносит больше чем на сутки.

– Как правило.

– Именно, – сказала Лидия и впервые, кажется, чуть-чуть улыбнулась, так, что в голосе что-то дрогнуло, и тут же выровнялось. – Мне нужен ответ сегодня до девяти вечера. Я понимаю, что это нечестно по отношению к вам. Но фестиваль без альта в жюри это протокол, а протокол надо подписывать.

Варвара молчала. На веранде было холодно, изо рта шёл пар, под ногами лежал мёрзлый половик, и сквозь стекло, внизу, на дорожке, виднелись следы чьих-то валенок, ведущие к калитке: Софья Яковлевна принесла к обеду то, чего никто не просил. Из гостиной донёсся голос Эмилии Карловны, очень ровный и очень громкий: «Герман, ты тянешь не ту струну. Она не обидится, но мне больно».

– Можно подумать до вечера? – спросила Варвара.

– Конечно. Я позвоню в девять, если будет связь. Если нет, я отправлю сообщение. Спасибо вам, Варвара Сергеевна. Я передам Ольге Марковне, что вы взяли паузу.

Она положила трубку так быстро, что Варвара не успела ничего добавить. Телефон остался в руке, тёплый и чужой. Она стояла, не двигаясь, и вдруг поняла, что слово «пауза» застряло в ней, как заноза: что-то в нём было нехорошее, как будто его произнесли не просто так. Потом отогнала. Голос был вежливый и умелый, отрепетированный, как хорошо выученная гамма. Таким голосам после зимы Варвара больше не доверяла и тут же одёргивала себя: женщина просто хорошо говорит по телефону, и вся её беда в том, что она секретарь.

В гостиной Герман, не заметивший её ухода, сыграл второе ре, и оно вышло чище.

В кухне тётя резала яблоки для пирога. Резала быстро, тонкими ровными дольками, и каждая падала в миску с мелодичным шлепком. Услышав шаги, она не обернулась, но по спине её, прямой, в чёрной вязаной кофте, было видно, что она ждёт.

– Не говори, – сказала она. – Я слышала.

– Тётя, ты не могла слышать. Дверь закрыта.

– Дверь в нашем доме закрыта только в том смысле, что она не нараспашку. – Эмилия Карловна положила нож и вытерла руки о фартук. – Ты говорила шёпотом, но «Ревзина» произнесла отчётливо. И «сорок пять тысяч». Кто такая Ревзина?

Варвара села. Бемоль в жилетке подошёл, обнюхал её сапоги и тяжело опустился на пол, положив морду на лапы. Она рассказала про звонок, про Лидию, про жюри, про Ольгу Марковну и про шестнадцатилетнюю себя с Хиндемитом, и по мере рассказа ей становилось странно легко: так легко бывает, когда выкладываешь вещи на стол и видишь, что их не так много, как казалось. Тётя слушала, подперев щёку рукой, как слушают сложную пьесу в хорошем исполнении, и ни разу не перебила.

– Бельский, – сказала она наконец.

– Что?

– Эдуард Львович. Председатель. – Эмилия Карловна выпрямилась. – Тот самый, из «Музыкальной жизни». Я читала его лет тридцать. Он написал, что у Рихтера руки умнее головы, и Рихтер, говорят, три дня не выходил из комнаты. Страшный человек. Блестяще пишет. Ты знаешь его?

– Не лично. Аркадий ненавидел.

– Это я помню.

– В две тысячи восьмом он написал про Аркадия рецензию. Там была фраза, что Соколовский дирижирует так, будто боится, что оркестр заиграет сам. – Варвара поморщилась. – Аркадий её вырезал и хранил в ящике стола. Не для того, чтобы злиться. Для того, чтобы помнить, как не надо дирижировать.

– Любопытно, – сказала тётя. – Значит, будет интересно посмотреть, как он выглядит живой.

Она не добавила ничего, но Варвара вдруг поняла, что именно это «будет интересно» оказалось самым важным в её словах: Эмилия Карловна, которая всю жизнь выбирала, с кем разговаривать, только что, не повышая голоса, сказала, что ехать надо.

– Я не знаю, – сказала Варвара.

– Чего именно?

– Всего. – Она поймала себя на том, что вертит в пальцах кусочек яблочной кожуры. – Я никогда не была первой, тётя. В оркестре меня всегда сажали туда, где слышат остальных. Если я поеду, на меня будут смотреть. Участники, жюри, этот Бельский. Мне надо будет сказать «хорошо» или «плохо», и от моих слов у человека что-нибудь изменится. Я не хочу.

– Ты боишься не этого.

– Тётя.

– Ты боишься того, что у тебя получится. – Эмилия Карловна произнесла это без нажима, глядя на яблоки. – Это бывает. Вторая партия тем и удобна, что в ней нельзя ошибиться всерьёз. Если ты не ведёшь, значит, не виновата. А там, в жюри, ты будешь виновата во всём, что скажешь. И в том, что промолчишь, тоже.

Варвара не нашла, что ответить. В духовке тихо шипело. На подоконнике, в лёгком пару от чайника, лежали две кошки, серая и рыжая, прижавшись боками, и по тому, как они не двигались, было понятно, что обе слушают.

Телефон зазвонил в третий раз за день, и в этот раз она узнала имя на экране.

– ВАРЯ! – закричала Тамара так, что трубку пришлось отодвинуть на ширину ладони. – Я только что узнала! Мне Лена написала, а ей Нина, а Нине кто-то из коллег! Ты будешь членом жюри! Членом! Ты понимаешь, что это значит?

– Я ещё не согласилась.

– Ты согласишься!

– Откуда ты...

– Потому что ты у нас умная, и если тебе сделали такое предложение, значит, там кто-то решил, что ты можешь. – Тамара сделала паузу, в которой послышалось, как она затягивается чаем. – Я ради такого бы на колени встала. Я двадцать лет играю по ночам на банкетах «Ёлочку» в аранжировке для четырёх инструментов, и мне ни разу не предложили оценить чью-то «Ёлочку». Ты будешь ставить людям баллы, Варя. Балл за ре, балл за ми. Ты их будешь судить!

– Я никого не хочу судить.

– А этого от тебя и не требуется. От тебя требуется сидеть и слушать, как ты любишь, и записывать в тетрадку цифры. Это же твоё главное умение. Слышать и писать цифры.

– Тома.

– Что?

– Мне страшно.

На том конце провода стало тихо. Она слышала, как Тамара, видимо, поставила чашку на блюдце, и как в комнате у неё тикают часы, и как кто-то далеко, за стенкой, разговаривает по радио про курс валюты.

– Я знаю, – сказала Тамара совсем другим голосом, тихим, чуть севшим. – Поэтому и кричу. Мне тоже страшно за тебя. Но знаешь что? Когда я в шесть лет пошла на первую виолончельную репетицию, мне было так страшно, что я обмочила штаны. Я тебе не рассказывала. И что? Дали смычок, и я пошла дальше. Страшно, это значит, что стоящее.

Варвара засмеялась, коротко и тихо, сжав телефон ладонью.

– Тебе красное платье надо, – продолжала Тамара, снова повышая голос. – С вырезом лодочкой. Я лично его дарила, оно в твоей мансарде. На новогодний бал, потому что там будет бал, я точно знаю, в усадьбах всегда бал. И ты в нём такая, что у всех жюри отнимется язык, и все баллы придётся ставить с закрытыми глазами. Бери красное.

– Это неприлично.

– Это жюри, а не монастырь. – Она чихнула. – Я поеду к тебе тридцатого, если ты не вернёшься раньше. Нет, ты не вернёшься, значит, приеду к Эмилии Карловне одна и буду пить с ней чай. Скажи ей, что мы с ней сговорились.

– Она слышит.

– Прекрасно. Эмилия Карловна, вы слышите?

– Слышу, – сказала тётя от плиты, не поворачивая головы.

– Мы сговорились.

– Это ещё надо обдумать, – сказала Эмилия Карловна, и в голосе её, ровном и сухом, не было ни капли раздражения.

Николай Андреевич вошёл с охапкой дров, когда Варвара ещё держала телефон у уха. Он остановился на пороге, в серой куртке, с мокрыми от инея бровями, и стал стягивать перчатки, и она заметила, что делает он это медленнее, чем обычно. Боцман вошёл следом и сел у печки, обернув хвост вокруг лап, как будто тоже ждал объяснений.

– Что? – спросил он.

– Меня зовут в жюри. На фестиваль. В усадьбу на Валдае.

Он поставил дрова у печки. Сложил по одному, аккуратно, поленница к поленнице, как складывают бельё. Выпрямился, посмотрел на неё, и во взгляде его не было ни удивления, ни тревоги, а только та самая спокойная, внимательная ровность, с какой он глядел когда-то на воду перед швартовкой.

– Когда? – спросил он.

– Завтра. В двенадцать минибус в Москве. До третьего января.

– Ехать четыре часа до Москвы, потом четыре до Валдая, с метелями все шесть – сказал он. – Надо выезжать в шесть сорок на автобусе.

– Я ещё не решила.

– Решишь.

Он сказал это так просто, что она не сразу поняла, что именно сказал. Он не просил остаться и не говорил «будет скучно». Он просто посмотрел на её лицо, на телефон в руке, на тётю, которая нарезала яблоки, делая вид, что ничего не происходит, и кивнул, медленно, один раз. Потом снял куртку, повесил на крючок и пошёл мыть руки.

Варвара осталась сидеть, глядя ему в спину. В груди у неё что-то слегка осело, не боль, а так, лёгкое разочарование, как бывает, когда ждёшь определённой ноты и слышишь рядом другую, не фальшивую, но не ту. Она сама не знала, чего ждала. Чтобы он сказал: «Не уезжай»? Нет, такого она бы не простила. Чтобы сказал: «Я буду ждать»? Он сказал «решишь», и это значило больше, чем любое из этих слов, и всё равно где-то под ложечкой зашевелилось маленькое, неумное, детское «а мог бы».

Днём пошёл снег. Мелкий, сухой, почти без ветра, он падал не хлопьями, а крупой, шурша по железу, по ветвям, по заиндевевшим стёклам, и к трём часам двор побелел и стал тихим, как перед ночью. Герман ушёл к четырём, оставив на пюпитре листок с нарисованным ре, на котором вместо ноты красовался человечек с огромными ушами. Эмилия Карловна, закончив пироги, села за пианино и стала играть левой рукой что-то нестрогое, домашнее, с остановками, и в гостиной, в тёплом полумраке, поверх шороха снега на крыше медленно, неровно текла музыка, которую можно было слушать и не слушать.

Варвара поднялась в мансарду. Села на кровать, достала из-под подушки бумагу, которая лежала там почти две недели: письмо Дымова с печатью, в котором на трёх строках значилось, что администрация города Тарусы предлагает ей должность заведующей струнным отделением детской музыкальной школы имени Г. А. Верещагина с первого февраля. Ставка, расписание, кабинет на втором этаже, с окном на оранжерею. Она читала это письмо раз пятнадцать и каждый раз застревала на последней строчке: «Прошу сообщить Ваше решение до пятнадцатого января». Дымов не торопил. Он привык, что люди приходят сами.

Она положила бумагу на тумбочку, под чашку с давно остывшим чаем. «Если поеду, – подумала она, – то пойму». Что именно, она бы не смогла сказать: может быть, умеет ли она сидеть в комнате, где на неё смотрят, и не просить прощения за каждую ноту. Хиндемит, шестнадцать лет. Они не твои, их написал Хиндемит.

В девять вечера телефон зазвонил, как обещала Лидия Орлова, ровно в срок. Варвара стояла на веранде, закутавшись в тётин плед, и смотрела, как за стёклами, в темноте, сыплет снег, и красные квадраты в верхних рамах дрожали от стужи. Она взяла трубку на втором гудке.

– Варвара Сергеевна? Это Лидия Орлова.

– Я согласна, – сказала Варвара.

– Спасибо, – сказала Лидия. Голос её не изменился, но в нём, как показалось Варваре, мелькнуло что-то очень тихое, вроде облегчения, которое она не позволила себе выпустить дальше. – Я немедленно сообщу Роману Игоревичу и оргкомитету. Минивэн будет у вокзала, у памятника, в двенадцать. На борту табличка «Белая Берёза». Если что-то изменится, я позвоню.

– Хорошо.

– И, Варвара Сергеевна. Возьмите тёплое. На Валдае сейчас не двадцать два, как у вас, а двадцать восемь, и в усадьбе старые печи.

– Возьму.

– До встречи.

Связь оборвалась. Варвара долго смотрела на тёмный экран, потом положила телефон на подоконник. Откуда Лидия знала, сколько градусов у неё в Липовых Горках, она не спросила. Наверное, смотрела по интернету. Теперь все смотрят.

Эмилия Карловна ждала в гостиной. Она стояла у пианино в чёрном платье с белым воротничком, в котором она, видимо, считала нужным принимать важные известия, и перед ней на крышке лежала колода карт, раскинутая в пасьянс. По тому, как она держала руку над рядами, Варвара поняла, что та не играет, а размышляет.

– Согласилась, – сказала тётя.

– Откуда ты...

– Ты спустилась на пять минут раньше. Пока говорила, не шаркала ногами. – Эмилия Карловна перевернула карту. – Хорошо. Значит так. Слушай.

– Тётя, не надо...

– Слушай, – повторила она тем самым тоном, каким объявляла «шесть пик», и Варвара замолчала. – Ты едешь не на экзамен. Ты едешь послушать, как играют молодые люди, и сказать правду. Правда в музыке не жестока, она просто точна. Бельский, судя по всему, этого не знает: он думает, что правда это когда больно. – Она положила карту на карту. – Не бойся его. Люди, которые любят делать больно, всегда боятся тишины. Ты в ней живёшь, это твоё преимущество. Просто сиди и слушай, а остальное само.

– Само что?

– То, что нужно, – сказала Эмилия Карловна. – Иди и слушай. Особенно то, чего никто не говорит.

Варвара подошла и обняла её сзади, за плечи, и тётя, которая не терпела нежностей, не пошевелилась. Только правая рука её, с тонкими дрожащими пальцами, на секунду накрыла Варварину ладонь и сразу же снова легла на колоду.

Вечер прошёл в сборах. К десяти Варвара достала из-под кровати чемодан на колёсиках, тот самый, у которого в первый вечер отвалилось колесо; Николай Андреевич в ноябре прикрутил новое, и теперь оно вертелось с таким чётким щелчком, что хотелось вернуть его на место и послушать ещё. Бросила на дно свитера, джинсы, запасное чёрное платье для выступлений, которое, правда, никому не понадобится, а в какой-то момент, стоя посреди комнаты с охапкой одежды, вдруг подумала, что не помнит, зачем ей столько. Красное платье лежало на самом дне шкафа, завёрнутое в газету. Она достала его, развернула, повесила на плечики, и мягкая ткань с вырезом лодочкой легла на её руки, как чужая вещь, которая очень хочет стать своей. Она положила его в чемодан сверху и тут же прикрыла кофтой.

Альт она уложила в футляр сама, трижды проверив канифоль, струны и сурдину, и закрыла крышку. Остановилась. Из бокового кармана, того, что с молнией, торчал край тряпочки, которой она протирала деку. Карман был пуст. Он был пуст с сентября, с самого Нижнего, и она давно перестала в него заглядывать, как не смотрят в ящик, откуда вынули всё. Она задвинула молнию, поставила футляр на стул у двери и пошла вниз, в кухню, пить воду.

В кухне горела одна лампа. Николай Андреевич сидел за столом с белой кружкой без ручки в ладонях и смотрел на карту, разложенную перед ним: не речную, как на «Герде», а обыкновенную дорожную, где красной линией шла трасса от Москвы к Новгороду. Он водил по ней пальцем, останавливаясь на каждом городе. Увидев её, не убрал руку.

– Бологое, – сказал он. – Потом Вышний Волочёк, Выдропужск, Валдай. Дорога хорошая, но на тридцатом километре после Твери там ветровой участок. Если пойдёт метель, наметёт сразу. Скажи водителю, чтобы шёл не быстрее восьмидесяти.

– Он без меня знает.

– Он знает, а ты скажи.

– Хорошо.

Она села напротив. На подоконнике лежал Боцман, свернувшись, а на лежанке у печки спали, прижавшись друг к другу, Бемоль в жилетке и Фуга, которой было слишком холодно, чтобы возражать. Часы в гостиной ударили одиннадцать, и жестяная птица выкатилась из дверцы и пискнула один раз.

– Ты не против? – спросила Варвара.

Он поднял глаза. Ей показалось, что на секунду, не больше, в них мелькнуло что-то быстрое и очень тихое, как тень птицы на снегу, и тут же скрылось.

– Против чего?

– Что я еду.

– Нет.

– Совсем?

– Совсем, – сказал Николай Андреевич. – Ты должна. Это правильно. – Он помолчал, и она подумала, что сейчас он добавит что-нибудь ещё, но он только повторил, тише: – Правильно.

Он не сказал «мне будет не хватать». Он не сказал «приезжай скорее». Он сидел, держа свою кружку без ручки, и смотрел на карту, и Варвара вдруг поняла, что не знает, как с этим быть: что он сказал, и что не сказал, и что для него между этими двумя вещами нет никакой разницы. Она хотела спросить, но не нашла слов, и от этого стало неловко и немного обидно, как бывает неловко, когда хочешь подарить подарок и не знаешь, нужен ли он.

– Я лягу, – сказала она.

– Спокойной ночи.

– Спокойной ночи.

Она ушла наверх, не оглянувшись, и легла, и долго лежала на спине в темноте, слушая, как внизу скрипит табуретка, как перекладывает бумагу чужая рука, как в трубе шумит ровное, чистое ре. Потом заснула.

Телефон зазвонил в десять минут второго.

Звонил не её. Она услышала сквозь сон, как внизу, в кухне, что-то глухо стукнуло, потом раздался голос, низкий и короткий: «Да. Говори. Где? Сколько? Понял». Потом шаги, тяжёлые, быстрые, и хлопнула входная дверь. Варвара села на кровати, не понимая, где она. В окне стояла полная тьма, и только в углу, на стекле, белел иней, поблёскивая под слабым светом звёзд. Она спустила ноги на холодный пол, нащупала носки, накинула плед и спустилась на цыпочках.

Он стоял в прихожей и натягивал сапоги. В куртке, в шапке, с лицом, которое она раньше видела только на мостике: собранным, ровным, без единой лишней чёрточки. Боцман сидел рядом на половике и смотрел на него снизу вверх, и по уху, чуть дёрнувшемуся, было ясно, что он тоже всё понял.

– Что случилось? – спросила она шёпотом.

– «Герда». Труба. – Он дёрнул шнурок и затянул узел. – У нас в машинном отделении стоит маленький котёл, чтобы не прихватило систему. Он погас. Пал Палыч обходил в двенадцать, всё было нормально, а в час услышал: бьёт. Вода в магистрали встала льдом, лопнуло на двух участках. Если до утра не заглушить, потечёт по всему трюму, а температура падает.

– Ты поедешь сейчас?

– Да.

– А если не...

– Не надо, – сказал он. – Там Пал Палыч, Костя, Зинаида Петровна. Они справятся. Но мне надо быть.

Он выпрямился. Она стояла на нижней ступеньке в пледе, босая, и он, секунду помедлив, шагнул ближе, взял её за плечи, повернул и ввёл обратно на лестницу, на две ступени вверх, как берут и переставляют на нужное место хрупкую вещь.

– Не стой на холодном, – сказал он.

– Я не...

– Стоишь.

Он наклонился и, не спрашивая, поцеловал её в лоб, быстро, жёстко, сухими губами, как целуют на прощание в дальнюю дорогу. От него пахло стужей, табаком и чем-то железным. Потом отступил, поднял с пола сумку с инструментами и ушёл. «Нива» завелась на второй попытке, хрипло кашлянула и пошла по снегу вниз, к дороге, постепенно стихая. Бемоль, вылетевший из кухни, остановился в прихожей, прислушался к тишине и вдруг, неожиданно для всех, коротко, тоненько, завыл.

– Тише, – сказала Варвара.

Он замолчал.

Она не вернулась в постель. Села на кухне, налила себе чаю, который успел остыть до тёплого, и в какой-то момент поймала себя на том, что считает минуты. В два она подумала про трубу. В три про Зинаиду Петровну, которая, наверное, стоит в камбузе в халате с чайником и командует. В половине четвёртого про Пал Палыча, разговаривающего с котлами, и про Костю, который ходит с гаечным ключом так, будто ему доверили государственную тайну. В четыре о

том, что она, наверное, не должна была отпускать его без чая, без хлеба, без слов, и что слов, как выяснилось, у неё тоже нет.

Она заснула на кухонной лавке, подтянув колени, в пледе, с Бемолем под боком. Сон был лёгкий, без сновидений, с чувством, что где-то рядом кто-то ходит.

Проснулась она от того, что в кухне горел свет, и пахло кофе.

За окном по-прежнему стояла темнота. На часах было двадцать минут пятого утра, она проспала не больше получаса. Николай Андреевич стоял посреди кухни спиной к ней, огромный, закопчённый, в расстёгнутой куртке, и лицо у него в профиль было чёрное от сажи, на левой скуле темнела длинная ссадина, руки в порезах, под ногтями соляр и копоть. Он ничего не говорил. Он держал в руках её чемодан.

Она не пошевелилась. Не потому, что боялась ему помешать: ей показалось, что если сейчас подать голос, то картина, которую она видит, исчезнет, как исчезает хрупкое, когда на него дышат. Чемодан лежал на столе, раскрытый, и он вынимал из него вещи по одной, внимательно, как вынимают из трюма груз, который нужно перекрепить. Свитера. Джинсы. Чёрное платье. Она сложила их, торопясь, как попало, и теперь он расправлял каждую вещь на столе и укладывал заново, ровно, конвертом, на флотский манер: рукава внутрь, воротник наружу, одна к другой, плотно, чтобы в дороге не ездили. Руки у него были большие, исцарапанные, и двигались они с той особой осторожностью, с какой он брал когда-то в рубке альтовый футляр.

Красное платье он достал последним. Подержал в руках, не разворачивая, посмотрел на вырез, на ткань, потом осторожно, не расправляя складок, обернул в чистую салфетку и положил сверху, поверх остального, так, чтобы оно не помялось. Руки его на секунду задержались на мягкой красной ткани и убрались.

Он достал из своей сумки, стоявшей на стуле, пару шерстяных носков, серых, толстых, вязаных, и положил их на самый верх, у ручки. Затем термос, стальной, чёрный, со сколом на крышке, налитый до краёв: Варвара видела пар, поднимавшийся из горлышка. Он вставил термос в боковое отделение и тщательно утрамбовал вокруг него свитер. Потом застегнул чемодан, проверил замки и поставил у двери рядом с футляром.

Она закрыла глаза.

Услышала, как он вымыл руки в раковине, долго, шумно, потом как достал из шкафа чашку, налил кофе и сел за стол. Услышала, как скрипнула молния: он открыл футляр, потому что надо было что-то проверить, или потому что рука потянулась к знакомой вещи. Услышала, как зашуршала бумага, потом тихий скрип карандаша, один раз, второй, потом молния, и футляр закрылся.

Потом на плечи ей легло что-то тёплое. Пахнувшее стужей и дымом. Он накрыл её своей курткой, вторым слоем поверх пледа, и тяжёлая шершавая ткань оказалась такой тёплой от его тела, что она едва не выдала себя вздохом. Он постоял над ней, она это чувствовала, не двигаясь и не говоря ничего. Потом погасил свет и вышел в сенцы.

Разбудил её запах.

В кухне светлело, за окном серое небо проступило в рамах, и снег лежал белым прямоугольником. Стенные часы показывали без десяти шесть. На столе, на тарелке, под чистым полотенцем, лежали пирожки, ещё тёплые, с налимом и капустой: Зинаида Петровна, в четыре утра, после всего, нашла время испечь. К картонной коробке была прислонена записка на клочке бумаги, написанная чужим круглым почерком: «Дорога дальняя, ешьте. З. П.». Николая Андреевича в кухне не было. Куртка на ней лежала, но он ушёл, оставив её, и из окна было видно, как он идёт от сарая с охапкой дров, как обычно, ровным тяжёлым шагом, будто никакой ночи не было.

Она встала, умылась и поднялась в мансарду одеваться. Тёплое бельё, свитер, толстые носки, джинсы, куртка. Сунула в карман шапку, перчатки, телефон. Спустилась вниз, взяла со стула футляр с альтом и вдруг, сама не зная зачем, поставила его на стол и расстегнула молнию бокового кармана. Она всегда проверяла канифоль перед дорогой. Канифоль лежала на месте. Но под ней, свёрнутый вчетверо, белел лист из блокнота в клетку.

Она не сразу взяла его. Постояла, не дыша, потом развернула. Тот же мелкий прямой штурманский почерк, чёрная ручка с вытертой позолотой на колпачке, ни одной помарки.

«Позвони. Н. Р.»

И всё. Три слова. Два из них инициалы.

Лист из блокнота в клетку, который кто-то аккуратно оторвал по линии, не оставив ни одной бахромы. Она смотрела на него долго, держа двумя пальцами, как держала когда-то лист нот перед концертом. Все годы, что они были вместе, в этом кармане жили записки другого человека. «Хлеб, молоко, яйца. Прости за вчера». «Ты была права про Брамса, но вслух не скажу». Они были умные, красивые, написанные карандашом, быстро, с длинным хвостом на последней букве, и все они о чём-то просили или в чём-то каялись. В этой записке не было ничего. Она не просила, не извинялась, не обещала. Она просто лежала там, где должна была лежать, и говорила: я здесь.

Варвара сложила лист так же, вчетверо, и положила обратно, но не на дно, а наверх, чтобы можно было достать, не открывая футляра целиком.

В дверях кухни появилась Эмилия Карловна, в чёрном пальто и берете, прямая, как всегда, с мундштуком в пальцах. Фуга шла за ней по пятам. Тётя окинула взглядом стол, чемодан, футляр, пирожки под полотенцем и спросила одно:

– Всё?

– Всё.

– Ничего не забыла?

– Нет.

– Это значит, что забыла. Но не страшно. – Эмилия Карловна подошла и поправила у неё воротник, одним движением, как поправляют перед концертом. – Слушай внимательно, Варя. Самое главное в оркестре происходит в паузах. Остальное просто нотный текст.

– Тётя, откуда ты взяла...

– Из жизни, – сказала Эмилия Карловна и отступила на шаг. – Иди. Он ждёт у калитки.

Улица была тёмная и тихая. Снег лежал глубоко, скрипел под сапогами высоко и звонко, на одной ноте, и звёзд над головой было так много, что Варвара на секунду остановилась, запрокинув голову. Небо стояло чёрное, чистое, огромное, и в нём, над самым овражным краем, висела тонкая, острая, как срезанный ноготь, луна. Дым из труб поднимался прямо, белыми столбами, и ни в одном окне не горел свет. Было двадцать четыре ниже нуля, как сообщил ей Николай Андреевич ещё у калитки, и воздух обжигал лёгкие при каждом вдохе, но дышалось странно легко.

Он нёс чемодан и футляр. Она не успела опомниться, как всё оказалось у него в руках, и он пошёл вперёд, по самой середине дороги, не торопясь, и она шла рядом, чуть сзади, как шла когда-то за Ефимом с тачкой. Остановка стояла там же, где стояла в ноябре: бетонный козырёк с пятнами сырости, жестяное расписание, на котором уцелели только цифры «6.40» и «18.15», и позади, за дорогой, магазин с зарешечёнными окнами и вывеской «Продукты». На пороге магазина сидела кошка, та самая, чёрно-белая, свернувшись в клубок, с замёрзшими, она это увидела издали, усами. Увидев людей, она приоткрыла один глаз и закрыла.

Они поставили вещи у козырька. Было без пяти шесть.

Варвара стояла, засунув руки в рукава, и пыталась придумать, что сказать. Все слова, которые приходили в голову, оказывались либо слишком большими, либо глупыми. «Береги себя» звучало, как реклама. «Не скучай» как приказ. «Я вернусь» как то, что говорят в кино. Николай Андреевич стоял рядом, высокий, в шапке, надвинутой на брови, с лицом, на котором ссадина на скуле почернела, и смотрел не на неё, а на дорогу, откуда, из темноты, должен был прийти автобус.

– Труба, – сказала она наконец.

– Заварили, – сказал он. – Заглушили две секции. Пал Палыч до утра сидит с горелкой, он сказал, что ему надо с ней побыть. Костя ведро за ведром выливал воду. Зинаида Петровна в халате командовала. – Он помолчал. – Герду сберегли.

– Хорошо.

– Хорошо.

Они опять замолчали. Кошка на пороге пошевелилась и вытянула лапу. Где-то очень далеко, за полем, лаяла собака, ей ответила другая, и в этом перелае, коротком и ровном, слышалось что-то домашнее, почти ласковое.

– Ты руки отморозишь, – сказал Николай Андреевич.

Она не поняла, а потом поняла: и слово это, «отморозишь», и ощущение собственных рук, которые давно перестали чувствоваться. Она вынула их из рукавов и увидела, что пальцы

белые, как воск. Он смотрел на них секунду. Потом, не говоря ни слова, взял обе её ладони в свои, большие, жёсткие, тёплые, как печные кирпичи, и сунул их в карманы своей куртки.

Карманы были глубокие, подбитые флисом, и руки её погрузились в них целиком, до запястий, а его руки остались поверх, накрывая снаружи, как накрывают крышкой горячую кастрюлю. Она стояла, прижатая локтями к его бокам, и чувствовала сквозь ткань тепло его тела, и как медленно, тонкими иглами, начинает возвращаться кровь в пальцы. Это было больно, и это было хорошо. Она подняла глаза.

Он смотрел на неё сверху вниз, серьёзно, ровно, и в его глазах, серых, при свете одинокого фонаря, отражались две маленькие жёлтые точки. Лицо у него было усталое и очень спокойное.

– Позвони, – сказал он.

– Ты же не любишь телефон, – сказала Варвара.

Он чуть-чуть наклонил голову, как делал, когда обдумывал ответ.

– Для тебя научусь, – сказал он.

Это прозвучало так просто, как будто он сообщал расписание. Она засмеялась. Тихо, чтобы не разбудить посёлок, выдыхая пар, который облачком повис между ними и тут же расплылся. Он смотрел, как она смеётся, и в углу его рта появилась та самая тень, которую она привыкла считать его улыбкой.

– Я нашла записку, – сказала она.

– Какую?

– В футляре.

– А, – сказал он. – Это на случай, если телефон не поймает.

– Он там не поймает. Ловит только в башне.

– Тогда в башню.

– Ты запомнил.

– Лидия говорила по громкой, пока ты стояла на веранде, – сказал он. – Тётя открыла дверь на сантиметр.

– Она не...

– Она сказала, что это было совершенно случайно.

Они смотрели друг на друга ещё минуту, потом он, не отпуская её рук, сказал, глядя поверх её головы:

– Пока тебя не будет, я проверю все печи. И крышу. И водосток. Даша приедет второго, к ней надо подготовить комнату. Эмилия Карловна говорит, что ей нужен письменный стол. Я его сделаю.

– Ты делаешь стол.

– Я делаю стол.

– Мне вернуться третьего, чтобы увидеть?

– Он будет стоять и ждать.

Она не знала, что на это ответить, и потому не ответила. Просто прижала лоб к его куртке, там, где пахло дымом и мылом, и стояла так, чувствуя, как сквозь ткань бьётся его сердце, ровно, медленно, на шестьдесят ударов в минуту. Он не обнял её. Руки его так и лежали поверх карманов, крышкой, чтобы не уходило тепло, и в этой неподвижной, неловкой, почти смешной позе было больше, чем в любом объятии.

Свет фар показался из-за поворота в шесть сорок две.

Он был жёлтый, дрожащий, размытый стужей, и из темноты вынырнул сначала один огонь, потом второй, потом облупленный бок ПАЗика с тёмными занавесками и надписью «Не прислоняться» на боковой двери. Автобус остановился, фыркнул, дверь открылась с шипением, и в ней, на ступеньке, возник лысый водитель с усами, закрывавшими половину лица, тот самый, что весной помогал ей втаскивать сумку.

– Ага, – сказал водитель.

Николай Андреевич вынул из её рукавов свои руки, и она почувствовала, как сразу стало холодно. Он взял чемодан, поднялся с ним на ступеньку, поставил в проходе, поправил футляр так, чтобы он не ездил, спустился и снова встал рядом.

– Метель на Валдае, – сказал он водителю. – Через два дня. Передайте по рации, если будет что-нибудь.

– Это вам не в рейс, – сказал водитель. – Это пассажир.

– Это моя пассажирка.

– Ага, – повторил водитель, и по его усам прошла быстрая тень улыбки. – Не вынесет, значит, не вынесет.

– Вынесет.

Варвара поднялась. В салоне горела тусклая жёлтая лампа, на клеёнчатых сиденьях сидели двое: женщина с кошёлкой и старик в ушанке, с яблоком, которое он ел прямо с кожурой. Она узнала его. Он узнал тоже и кивнул, не прекращая жевать. Она села у окна, прижала футляр к коленям и повернулась.

Он стоял на остановке, высокий, неподвижный, в шапке, надвинутой на брови, и смотрел на окно. Рядом с ним, неизвестно откуда взявшись, стояла кошка, та самая, чёрно-белая, и тоже смотрела. Автобус дёрнулся, колёса скрипнули по снегу, и он начал медленно уходить назад, и фигура у козырька сделалась меньше, потом совсем маленькой, потом стала одним тёмным пятном, потом исчезла за поворотом.

Старик в ушанке, дожевав яблоко, достал из-за пазухи второе и протянул ей.

– Зимнее, – сказал он. – Мелкое, но сладкое. С верещагинской, говорят. Едете далеко?

– На Валдай.

– В такую-то погоду, – сказал он, и покачал головой. – А там метёт. Я по радио слышал: циклон идёт с северо-запада. Двадцать девятого начнётся.

– Знаю, – сказала Варвара.

– Знаете, а едете.

– Меня позвали.

– Кто?

– Не знаю, – сказала она. – Кто-то, кто хочет, чтобы я послушала.

Старик пожал плечами, не слишком удивлённо, как пожимают люди, привыкшие к чужим причудам, и отвернулся к окну. Она взяла яблоко. Оно было твёрдое, холодное, с красным боком, и она держала его в ладони, пока оно не начало теплеть.

За окном бежала тёмная дорога. Над полем вставала бледная полоса рассвета, розоватая с краю, и в этой полосе чёрными штрихами проступали верхушки лесов. В салоне пахло сырой шерстью и дизелем. Автобус качнуло на повороте, и футляр съехал у неё с колен, и она подхватила его, и пальцы сами нашли молнию бокового кармана. Не открывая, она положила на неё ладонь. Там, под тканью, под канифолью, лежал сложенный вчетверо листок, и от него шло тихое, почти неощутимое тепло.

Она сидела так до самого Серпухова, не говоря ни слова, и думала о том, что ей сорок два года, что она едет сидеть в жюри, что в кармане лежит записка, на которой написаны три слова, и что вот это, пожалуй, и есть то, чего ей не хватало всю жизнь: когда не требуют, не просят и не ждут, а просто говорят «позвони» и держат твои руки в карманах, пока не придёт автобус.

Глава 2

Памятник, о котором говорила Лидия, никак не находился. Вокруг Ленинградского вокзала их стояло, если считать вместе с чугунными фонарями и каменными вазонами, штук шесть, и каждый москвич, которого Варвара останавливала с вопросом, показывал в свою сторону и уверял, что именно этот её и интересует. К половине двенадцатого у неё окоченели пальцы. Она переминалась с ноги на ногу посреди Комсомольской площади с чемоданом на одном плече и футляром на другом, и от каждого порыва ветра, налетавшего откуда-то со стороны трёх вокзалов, ей хотелось раскрыть куртку и забраться внутрь целиком, как собака забирается под диван. Метро, электричка и автобус остались позади, а вместе с ними пять часов дороги и бессонная ночь, в которую она успела подумать о стольких вещах, что теперь не могла вспомнить ни одной.

Белый микроавтобус с табличкой «Белая Берёза» за лобовым стеклом отыскался сам. Он стоял на углу, у сугроба, на аварийке, и вокруг него ходил огромный парень в клетчатой рубашке навыпуск и в безрукавке из овчины, с таким лицом, будто высматривал, что у машины отваливается. Заметив Варвару, он остановился, заглянул в телефон, посмотрел на неё, снова в телефон и сказал:

– Миронова?

– Да.

– Сергей. Я до Валдая, потом назад. Пассажиров шестеро, вы седьмая. Вещи давайте.

Она хотела сказать, что футляр понесёт сама, но он уже подхватил чемодан одной рукой, как берут пакет с хлебом, и поставил в багажник, а когда она протянула ему альт, посмотрел на неё внимательно и сказал: «Это в салон, на колени. В багажнике струны лопаются». Она не успела удивиться. В кармане куртки коротко дрогнул телефон, и на экране высветилось сообщение с вчерашнего незнакомого номера: «Открытие фестиваля переносится на 19.00 в связи с дорогой и задержкой заезда. Ужин в 20.00. Л. О.». Она перечитала и убрала. В памяти всплыл ровный низкий голос, который не повышался ни на ноту, и вдруг показалось странным, что даже в таком коротком сообщении чувствуется, как человек стоит и считает минуты.

В салоне было тепло и пахло мокрой шерстью, чужими духами и сырым хлебом. На заднем сиденье, вытянув ноги в проход, спал мальчик лет шестнадцати со скрипичным футляром на животе и открытым ртом, а рядом, обняв обеими руками виолончель в мягком чехле, сидела девочка помладше и смотрела в окно с видом человека, которого везут на операцию и обещали, что будет не страшно. На среднем ряду двое. У окна, подобрав под себя ногу, расположилась высокая худая девушка лет девятнадцати в вязаной шапке с помпоном и в длинном сером пальто, с толстой тёмной косой, перекинутой через плечо. Она не повернула головы, когда Варвара вошла, и только пальцы правой руки, лежавшей на колене, быстро и беззвучно бежали по воображаемым клавишам, то вверх, то вниз, то на тихом ходу, то переходя на какой-то сложный пассаж. Рядом с ней, на самом краю сиденья, как сидят на собрании люди, привыкшие командовать, выпрямилась женщина лет сорока восьми в светлой шубке и в шарфе, обёрнутом вокруг шеи таким узлом, что его, пожалуй, можно было бы сдавать в музей. Увидев Варвару, она улыбнулась так широко, что сверкнули все зубы.

– Вы наша новая коллега! – сказала она. – Инга Борисовна Вольская, а это Настя, моя дочь, пианистка. Садитесь к нам. Всеволод Николаевич вам место держит.

Всеволод Николаевич держал место на переднем сиденье, рядом с водителем, и, услышав своё имя, повернулся, насколько позволял ремень. Это был высокий, сутулый, очень седой человек лет семидесяти с лишним, в длинном верблюжьем пальто, в сером вязаном шарфе и в фетровой шляпе, которую он снял, как только Варвара вошла, и теперь держал на коленях обеими руками. Лицо у него было длинное, мягкое, с мешками под глазами и с застенчивой, чуть виноватой улыбкой, какая бывает у людей, всю жизнь извинявшихся за то, что занимают место. На коленях под шляпой лежала толстая картонная папка, перевязанная бечёвкой.

– Лавров, – сказал он. – Композитор. Если вам это что-то говорит, не говорите, пожалуйста, мне тогда придётся что-то ответить.

– Миронова, – сказала Варвара. – Альтистка. Мне это, к сожалению, ничего не говорит про вас, но я искренне постараюсь.

Он засмеялся, тихо, в кулак, и Варвара поняла, что поедет с ним хорошо.

Микроавтобус тронулся в двенадцать десять. Серёжа вывел его с площади боком, лавируя между такси, ругнулся в сторону светофора и вырулил на Ярославское шоссе, а потом на трассу. За окном потянулись серые бетонные заборы, склады, длинные цепочки гаражей, занесённых снегом до самых крыш. Мальчик со скрипкой всхрапнул и перевернулся на другой бок. Девочка с виолончелью прижала инструмент крепче.

– Вы первый раз в жюри? – спросила Инга Борисовна, едва они миновали кольцевую.

– Первый.

– Это видно. – Она засмеялась. – Нет, не обижайтесь, я хотела сказать, что у вас свежий взгляд. Мы с Настей на этом фестивале в пятый раз. Всё знаем: и кто как судит, и кого куда сажают, и когда подают горячее. Вы не волнуйтесь, мы вам подскажем.

– Спасибо.

– Только один совет. – Она наклонилась вперёд и понизила голос так, что услышал бы весь автобус. – Бельский. Эдуард Львович. Председатель. Человек, как вы понимаете, особенный. С ним нельзя спорить, но можно договориться. Он очень ценит искренность. Мы с ним много лет, он Настю знает с двенадцати. Писал о ней всегда с большой теплотой.

Рука девушки на колене замерла. Варвара заметила это краем глаза, и тут же снова сбежала по воображаемой клавиатуре, быстрее прежнего, как будто пыталась убежать от чужих слов.

– Мам, – сказала Настя, не поворачивая головы.

– Что?

– Не надо.

– Я просто объясняю.

– Я знаю, что ты объясняешь.

Голос у неё оказался неожиданно низкий, усталый, совсем не девичий. Инга Борисовна открыла рот, закрыла и, помолчав, обернулась к окну, и в профиль её красивое, чуть тяжёлое лицо вдруг стало жёстким. Лавров на переднем сиденье тихонько, с видимым усилием, откашлялся, повернулся и предложил всем конфету. Конфета оказалась барбарисом, завёрнутым в бумажку с картинкой, и Варвара вспомнила, что в детстве такие продавались в железной банке в магазине у школы.

У неё в сумке лежали пирожки. Коробка, обёрнутая полотенцем, была ещё тёплой: Зинаида Петровна успела её перевязать шпагатом, когда они всё-таки сошлись с Николаем Андреевичем у калитки, а потом Варвара тащила её через Серпухов, электричку и метро и боялась, что остынут. Не остыли. Она достала коробку, развернула полотенце, и по салону пошёл такой запах, что мальчик со скрипкой, не просыпаясь, сглотнул, а девочка с виолончелью первый раз за дорогу повернула голову.

– Налим, – сказала Варвара. – И с капустой. Угощайтесь. Это не мои, это Зинаиды Петровны, она печёт на роту.

Лавров взял с налимом, откусил, замер и закрыл глаза. «Господи, – сказал он тихо. – Это же память детства. Мать в Ярославле такие пекла». Девочка с виолончелью взяла два, один положила на колено, как кладут рядом с собой самое важное, и сказала «спасибо» еле слышно. Инга Борисовна покачала головой: «Я не ем мучное, углеводы». Настя, которой коробку передали последней, взглянула на пирожки, потом на мать, потом на Варвару, и взяла один, двумя руками, как берут птенца. Откусила. Лицо у неё на секунду стало совсем другим, детским, мягким, и она впервые за всю дорогу улыбнулась.

– Вкусно, – сказала она.

– Рада, – сказала Варвара.

– Я так и не поела с утра. – Она вдруг покраснела. – Мам, я говорила, что хочу есть.

– Ты говорила, что не голодна, – сказала Инга Борисовна ровным голосом.

– Я врала.

Лавров снова закашлялся. Серёжа за рулём, не поворачивая головы, прибавил громкость радио, и по салону поплыл какой-то весёлый эстрадный голос, поющий про зиму и про любовь.

Шоссе шло ровно, и снег лежал вдоль обочин такими высокими отвалами, что за ними не видно было ни полей, ни домов, одни серые ломти, сверкавшие на редком солнце, а когда они проезжали деревни, видно было, как из труб поднимаются прямые белые столбы и как дети катаются с горок на пластиковых санках. Под Тверью небо начало темнеть. Не к вечеру, а как-то изнутри, будто кто-то незаметно разбавлял светлое чем-то серым. Серёжа сказал, что видел

в интернете: циклон идёт с северо-запада, к тридцатому накроет всю область, а в Валдайском районе обещают сорок сантиметров за двое суток. «Мы проскочим, – добавил он. – Мы его обгоним». Инга Борисовна с сомнением спросила, а если не обгоним. «Тогда будем сидеть в усадьбе, – сказал Серёжа. – Там неплохо. Я возил туда уже четыре раза. Печка, пироги и этот ваш Бельский. Хотя про Бельского я не должен».

Варвара прислонилась лбом к стеклу. Окно было холодное, в мелких каплях, и сквозь них дорога казалась акварелью, в которой кто-то размыл границы. Она вынула из кармана телефон, посмотрела на экран: две палки связи, потом одна, потом ни одной. После Вышнего Волочка трубка окончательно умолкла и превратилась в чёрную пластинку без смысла. Она положила её обратно, достала термос, налила крышку. Чай был сладкий, густой, с мятой и липой, ещё горячий, и от первого глотка внутри разошлось то особое тепло, которое бывает только от вещи, налитой чужой рукой на рассвете.

Лавров обернулся.

– Ольга Марковна пила такой же, – сказал он. – С мятой. В училище, помните, она всегда ходила с алюминиевой кружкой.

– Помню. Вы её знали?

– Мы вместе работали на Всесоюзном радио, в восемьдесят третьем. Я писал музыку к радиоспектаклям, она играла в оркестре. – Он смущённо улыбнулся. – Она однажды при мне назвала дирижёра «любитель в белом галстуке». Тот потом три года не здоровался. А она всегда говорила: «Если человек не умеет слушать, пусть хотя бы молчит».

– Она мне говорила что-то похожее.

– Вот видите.

Он не стал продолжать. Но Варвара вдруг почувствовала, что рядом с этим человеком в измятом пальто ей не нужно ничего объяснять, и что тишина, которая между ними повисла, была из тех редких, что не требуют заполнения. Она подумала о том, что в эту поездку надо взять с собой побольше таких: людей, с которыми можно молчать.

Часам к пяти за окном стало темно по-настоящему. Зимний вечер на севере приходит не постепенно, а сразу, как закрывается дверь, и фары микроавтобуса вырезали из темноты два жёлтых клина, в которых плясали колючие снежинки. Ветер усилился. Автобус вздрагивал на выбоинах, и скрипач на заднем сиденье, проснувшись, сел и уставился перед собой с выражением удивлённого человека, который не помнит, как сюда попал. Девочка с виолончелью сказала ему шёпотом: «Мы на Валдае». «Уже?» – сказал он. «Почти».

Валдай показался огнями, редкими, жёлтыми, как далёкие свечи, и Варвара вдруг ощутила, что сердце у неё забилось быстрее. Город проплыл мимо тёмными крышами и рядами одинаковых магазинчиков, в окнах которых висели на красных лентах валдайские колокольчики: рядами, по размеру, от крошечных, с ноготь, до огромных, с кулак. Ветер раскачивал их, и сквозь стекло автобуса не слышно было ничего, но ей показалось, что она слышит. Тонкий, чуть дребезжащий звон, не весёлый и не грустный, а какой-то далёкий, как зов.

Усадьба стояла в двух километрах за городом, на возвышенности над озером. Они свернули с трассы на узкую дорогу, расчищенную только на одну колею, потом проехали мимо старых, высоких, покрытых снегом сосен, и вдруг, на повороте, в свете фар встало что-то белое и огромное. Серёжа притормозил. Это была берёза. Старая, толстая, в три обхвата, с белым стволом, почти светящимся в темноте, и ветви её, раскидистые, тяжёлые от снега, нависали над воротами, как руки над дверью. Ствол был такой огромный, что рядом с ним высокие кованые створки казались игрушечными. На одной из створок горел фонарь, и в его круге медленно кружились хлопья.

– Она, – сказал Серёжа. – «Белая Берёза». Ей лет сто пятьдесят, говорят. Громов её каждую осень подпирает.

– Подпирает? – спросил Лавров.

– Ствол кирпичом. Чтобы не завалилась.

Они въехали. Аллея, обсаженная липами и освещённая редкими фонарями, вела вверх, к дому, который показался сначала одними огнями, а потом, когда колея вынесла их на площадку, весь целиком, как выходит из тумана большой корабль. Усадьба была деревянная, двухэтажная, с мезонином и тонкой башенкой над крышей, обшитая тёсом и покрашенная в светло-серый, почти белый цвет, так что в темноте она сливалась со снегом и казалась рисунком на листе. Фасад украшал высокий портик с шестью тонкими деревянными колоннами, широкое крыльцо с резным навесом и два ряда больших окон, в которых горел жёлтый свет. Из труб поднимались прямые белые столбы дыма, и над всем этим, над крышей, над башенкой, над тёмным озером, лежащим где-то внизу, стояло низкое небо, готовое вот-вот опуститься.

На крыльце стояли двое.

Первый был коренастый, румяный, с рыжеватой бородой, в тулупе поверх свитера и в серых валенках, с фонарём в одной руке и с варежкой на верёвочке, болтавшейся у запястья. Он спустился по ступенькам широкой развалистой походкой, махнул рукой водителю и, едва автобус остановился, открыл боковую дверь сам. Изнутри ударило теплом и запахом дыма, а следом голосом, густым и радостным, как у деда в красной шапке, у которого вышло долгое ожидание.

– Приехали! Милые мои, дорогие, с дороги! Роман Игоревич, хозяин. Сейчас всех по комнатам, всех накормим. Всеволод Николаевич, вы всё такой же. Инга Борисовна, Настенька, с приездом. А это, должно быть, наша спасительница Варвара Сергеевна. Позвольте помочь.

Он протянул ей руку в варежке, и она, сойдя на снег, почувствовала, что рука эта сильная, тёплая и чуть дрожит. Роман Игоревич Громов был из тех людей, у которых радушие стало второй натурой, причём такой, на которую давно не хватает сил. Под глазами у него лежали тёмные круги, а когда он улыбался, по краям улыбки проступало что-то усталое, как у человека, который сорок раз на дню говорит «всё хорошо».

– Усадьба старая, – говорил он, шагая впереди по расчищенной дорожке и размахивая фонарём. – Тут сквозит, скрипит, печки капризные. Но зато настоящая. Не отель, а дом. Вы сами увидите. Эдуард Львович ещё не приехал, он ночует в Новгороде, будет к вечеру. Резни-

ков прибыл утром, он уже репетирует с оркестром. Все остальные здесь. Двадцать участников, двенадцать педагогов, вы, четыре члена жюри и мы, обслуга. Вас, наверное, ждали очень.

– Меня?

– Конечно. Лидия Павловна всё утро о вас говорила.

Вторая фигура стояла на самом верху крыльца, под фонарём, и до сих пор не двигалась. Теперь она шагнула вперёд, и свет упал на неё сверху, отчётливо, как на сцене: невысокая, прямая, тонкая женщина лет сорока шести, в тёмно-синем шерстяном платье с белым воротничком и в длинном сером кардигане до колен. Волосы у неё были тёмные, с проседью, гладко убраны в низкий узел на затылке, лицо узкое, бледное, с тонкими губами и спокойными серыми глазами. Она держала в левой руке толстый чёрный блокнот в кожаной обложке, перехваченный резинкой, а в правой, между пальцев, короткий карандаш.

Варвара смотрела на неё и чувствовала странное, не вполне определённое чувство, как будто в хорошо знакомой комнате переставили один предмет. Лицо этой женщины было совершенно обычным, ничем не примечательным, того типа, который на людях не запоминается: ни красивое, ни некрасивое, ни доброе, ни злое. Но стояла она так, как не стоят обычные секретари: неподвижно, ровно, с расставленными чуть шире плеч ногами, как стоят дирижёры за секунду до вступления. И карандаш в её руке, замеченный Варварой не сразу, чуть-чуть постукивал по обложке блокнота. Раз. Раз. Раз. Через равные промежутки, не нервно, не торопливо, а ровно, как капает вода в хорошо отрегулированном кране.

Варвара поймала себя на том, что считает. Профессиональная привычка: если в комнате есть пульс, она его слышит. Шестьдесят в минуту. Секунда за секундой.

– Варвара Сергеевна, – сказала женщина, и голос её оказался тем самым, с веранды в Липовых Горках: ровным, низким, внятным. – Лидия Орлова. Мы говорили по телефону.

– Я узнала.

– Рада, что вы доехали.

Она не протянула руки, а открыла блокнот и вынула из резинки карандаш. Строчки в нём шли ровные, аккуратные, мелкие, каждая с датой и временем.

– Миронова Варвара Сергеевна. Восемнадцать ноль семь, – прочитала она вслух, записывая. – Комната «Берёзовая». Один чемодан, один инструмент. Завтрак в девять, прослушивания с десяти. Расписание в комнате на столе. Если что-нибудь понадобится, позвоните в колокольчик у двери. Телефон здесь ловит только на башне, на самом верху, в слуховом окне, и то раз в день, около шести вечера. Я предупреждаю всех.

– Спасибо.

– Это моя работа.

Она сказала это так просто, без нажима и без улыбки, что Варвара не нашла, что добавить, кроме того, что вертелось на языке.

– У вас по телефону очень ровный голос, – сказала она. – Как у диктора.

– Я много лет работаю секретарём.

– В жюри?

– В разных местах. – Лидия закрыла блокнот и надела на него резинку. – Простите, мне нужно записать остальных. Роман Игоревич вас проводит.

Она отвернулась. Через секунду уже говорила что-то Лаврову, которого помогал выбраться из автобуса Громов, и Варвара успела заметить, что говорит она тем же голосом, с теми же интонациями, и что Лавров, смущённо улыбаясь, отвечает ей так, как отвечают человеку, которого давно знают и тем не менее ни разу не рассматривали. «Миронова, – подумала она. – А она? Орлова. Больше ничего». Лидия ничего о себе не сказала. Ни где училась, ни где работала, ни откуда родом. В этом не было ничего подозрительного: так ведут себя настоящие секретари. Но Варваре, привыкшей слышать людей, показалось, что в тихом голосе, в ровных паузах, в постукивающем карандаше есть что-то слишком упорядоченное, как в пьесе, сыгранной безупречно, но без единой живой ошибки.

Громов взял чемодан и пошёл вперёд.

Холл был огромный, двусветный, и первое, что Варвара ощутила, ступив на порог, был запах: густой, смолистый, тёплый, пахнущий лесом, воском, дымом и мандариновой коркой. От него у неё на секунду закружилась голова. Потолок уходил куда-то высоко, в тёмные балки, а под ним, посередине, стояла ёлка. Это была не ёлка, а целое дерево, метров шесть, не меньше, с такой пушистой, плотной, тёмно-зелёной кроной, что она, казалось, занимала полхолла. Верхушка её касалась галереи второго этажа, и на ветках висели игрушки, не новые, пластиковые, а старые, ватные и стеклянные: шары с облупившейся краской, снегурочки из папье-маше, золочёные шишки, бумажные гирлянды, стеклянные сосульки с длинными носиками. Между ними горели свечи. Не настоящие, электрические, но с таким мягким дрожащим огоньком, что на секунду казались живыми. На самой макушке сидела звезда, тонкая, старая, из жёлтой жести, чуть кривая.

– Привезли вчера из леса, – сказал Громов, перехватив её взгляд. – Игнат Прохорович с мужиками срубили. До сих пор смола течёт. Мы её каждый год ставим в Большом зале, но в этом году зал занят оркестром, так что на время в холле. Двадцать седьмого украшали всей усадьбой.

Холл был полон людей. Они сидели и стояли группами на широких диванах, на банкетках, на лестнице, прямо на ковре у камина: молодые, в свитерах и джинсах, с футлярами, нотами и чашками чая, и разговаривали все сразу, негромко, с тем особым гулом, какой бывает только там, где одновременно собрались десятки музыкантов. В камине, облицованном тёмным камнем, горел огонь, и перед ним на низкой скамейке сидели трое подростков и слушали, как четвёртый, худой, веснушчатый, тихо что-то наигрывает на гитаре. Из дальней двери слышалось фортепиано: кто-то разыгрывал левую руку, одну и ту же гамму, снова и снова, уверенно и скучно.

Варвара шла за Громовым вверх по широкой деревянной лестнице с резными перилами, и под ногами скрипели ступеньки, и каждая отзывалась по-своему: нижние глубоко и сипло, верхние тонко и сухо. Стены на втором этаже были увешаны старыми портретами в тёмных рамах: мужчина с бакенбардами, женщина в чепце, мальчик в матросском костюме, старик с трубкой. Лица у всех были строгие и скучающие. «Журавлёвы, – сказал Громов. – Первые владельцы. Купцы, лес торговали. Потом тут был санаторий для железнодорожников, потом пионерлагерь, потом ничего, потом я». Он остановился перед дверью в конце коридора, на которой висела дощечка с выжженной надписью: «Берёзовая». Рядом на красной шёлковой ленте покачивался маленький медный колокольчик.

– Вот. Звоните, если что. У нас так принято. – Громов открыл дверь. – Обживайтесь. Печку Игнат Прохорович затопил в четыре, сейчас тёплая.

Комната была большая, светлая, с низким потолком, обшитым белёной вагонкой, с широким окном на два створа и с высокой кроватью, застеленной толстым лоскутным одеялом. В углу, у стены, облицованный кремовыми изразцами, стоял камин, небольшой, уютный, с чугунной решёткой и железными щипцами, и в нём, за стеклянной дверцей, горел ровный оранжевый огонь. Пахло берёзовым дымом. У окна письменный стол с кувшином воды и стопкой бумаги, рядом кресло с высокой спинкой и вязаным пледом, а над столом старая картина: озеро в тумане, лодка, одинокая фигура с удочкой. На тумбочке лежал листок с расписанием, написанным от руки круглым ровным почерком.

– Ужин в двадцать ноль-ноль, в Белом зале, – сказал Громов. – Открытие в девятнадцать. Вам надо отдохнуть. Я пришлю чаю.

– Спасибо, Роман Игоревич.

– Не за что. – Он потоптался на пороге, и снова на лице его, под радушием, мелькнуло что-то трудное, не имеющее отношения к приезду гостей. – Вы только... Варвара Сергеевна. Если Эдуард Львович что-нибудь скажет, не принимайте близко к сердцу. Он такой.

– Какой?

– Блестящий, – сказал Громов. – Очень блестящий.

Он ушёл, и дверь закрылась. Варвара осталась одна в комнате, где потрескивал огонь. Она поставила футляр на кровать, осторожно, как кладут на кровать спящего ребёнка, и несколько минут просто сидела рядом, не раздеваясь, глядя на камин. Усталость навалилась сразу, всей тяжестью: пять часов в автобусе, шесть в минивэне, бессонная ночь, расставание у остановки. Она потёрла лицо ладонями. Потом встала, подошла к окну, отодвинула занавеску.

За стеклом было темно. Очень темно, глубоко и широко, как бывает только над большой водой. Где-то внизу угадывалось озеро: плоское, ровное, чуть светлее неба, с тёмной полосой далёкого берега, а над ним, в разрыве тяжёлых облаков, мерцала одна-единственная звезда. Ветер усиливался. Он гудел в трубе, посвистывал в щелях рамы, шевелил на подоконнике занавеску, и в этом гуле, в этом посвисте слышалась далёкая тревожная нота, ещё не угроза, а только предупреждение. Она задёрнула занавеску.

В дверь постучали, тихо, три раза. Пришёл Игнат Прохорович, истопник, с корзиной берёзовых поленьев на спине, маленький, сгорбленный, лет семидесяти с лишним, в ватнике и валенках, с длинными седыми усами и огромными красными руками. Он молча кивнул, подошёл к камину, открыл дверцу, подбросил два полена, прикрыл, постоял, прислушиваясь к тяге, и сказал, не оборачиваясь: «Не закрывайте вьюшку. Я сам». Это были первые слова, которые она от него услышала, и сказаны они были так, что захотелось ответить «хорошо». Она ответила. Он кивнул и вышел, оставив после себя запах дыма и сухого берёзового листа.

Она умылась, переоделась в чёрное платье, то самое, запасное, «для выступлений», которое Николай Андреевич так тщательно уложил поверх остального и которое теперь, развёрнутое, лежало на кровати чуть смятое по сгибам, как помнящее свои дороги. Тёплая кофта, колготки, туфли без каблука. Красное платье в чемодане она не тронула и закрыла крышку. Волосы стянула резинкой, посмотрела на себя в тёмное окно, в котором отражалась только лампа и силуэт, и вышла.

В половине седьмого в Золотой гостиной давали чай. Так называлась комната рядом с холлом, где на стенах висели жёлтые шёлковые обои, потемневшие от времени, а над диваном поблёскивал огромный овальный портрет в золочёной раме: какая-то дама в бальном платье, равнодушная и красивая. В гостиной стоял самовар размером с хорошую собаку, и вокруг него хлопотала молоденькая официантка в белом переднике, наливая из крана кипяток в стаканы с подстаканниками. На столе пестрели пирожки, пряники, баранки, миски с вареньем, блюдо с солёными груздями и тонко нарезанный лимон. Варвара вошла, и разговоры стихли на полсекунды, а потом возобновились, чуть тише, чем раньше.

– Варвара Сергеевна! – раздался густой весёлый голос. – Спасительница!

Он шёл к ней через всю гостиную, огибая диваны и подставки с цветами, высокий, широкоплечий, в тёмно-синем свитере с горлом и в узких брюках, с чуть растрёпанными тёмными кудрями, в которых над висками уже пробивалась первая седина, и с такой открытой, обаятельной, ямочной улыбкой, что рядом с ним невозможно было стоять с серьёзным лицом. Голубые глаза смеялись заранее, а в углу рта у него жила тонкая насмешливая складка, которая появляется только у людей, всю жизнь привыкших нравиться. Он остановился в шаге от неё, взял её руку обеими своими и с чувством поцеловал.

– Дмитрий Резников, – сказал он. – Дирижёр, ваш покорный слуга и вечный должник. Мы без альта в жюри чувствовали себя инвалидами. Ольга Марковна, дай ей Бог здоровья, всегда говорила, что без альтиста нельзя судить скрипачей: он слышит, чего они не договаривают. Вы нас спасли.

– Я никого не спасала. Меня позвали.

– Это одно и то же. – Он взял у неё из рук фарфоровую чашку, которую ей только что успели подать, наполнил её из самовара и вернул с таким поклоном, как будто вручал награду. – Я вас слышал, знаете ли. В две тысячи девятнадцатом в Москве, на концерте «Камераты», вы играли Шнитке. У вас там есть двойная нота в третьем такте, и вы её взяли так, что я весь зал слышал, как он замолчал.

Варвара почувствовала, что краснеет. Не от комплимента, а от точности: он помнил именно этот такт. Мужчины с ямочками на щеках встречались в её жизни часто, и каждый раз,

как правило, оказывались либо дирижёрами, либо опаздывавшими, а чаще и тем и другим. Этот, судя по всему, не опаздывал.

– Вы злоупотребляете, – сказала она.

– Чем?

– Памятью.

– Ничуть. Я вас специально запоминаю. – Он улыбнулся шире. – Это профессиональное. Если в оркестре есть человек, который слышит больше, чем говорит, я хочу знать его имя на случай, если понадобится помощь.

Фраза, которую он произнёс так легко, чуть не прошла мимо. Но у неё на секунду что-то дрогнуло внутри. «Вы слышите больше, чем говорите». Это сказала Лидия по телефону, процитировав Ольгу Марковну. Резников, возможно, слышал то же самое. Совпадение. В музыкальной среде такие фразы ходят из уст в уста, как пословицы.

Лавров подошёл тихо, с чашкой в одной руке и баранкой в другой, и встал рядом, и Резников, мельком глянув на него, сказал с лёгкой лаской, с какой говорят со старшим коллегой, которого ценят и немного жалеют:

– Всеволод Николаевич, как вам дорога?

– Прекрасная, – сказал Лавров. – Я нашёл человека, с которым можно молчать.

– Это редкость.

– Это драгоценность.

Резников засмеялся. Но краем глаза Варвара заметила, как ямочки на его щеках исчезли на долю секунды, а потом появились снова, на другом месте, чуть глубже.

В гостиной, помимо них, собралось человек пятнадцать. Молодые люди с папками и инструментами, педагоги в строгих свитерах, две женщины в вязаных шалях, оживлённо обсуждавшие что-то про ставки, и пожилой, плотный, лысый мужчина с тонкой бородкой, оказавшийся концертмейстером оркестра. Инга Борисовна Вольская расположилась у самовара, как королева у трона, окружённая тремя матерями с одинаково напряжёнными лицами, и говорила им что-то громким уверенным шёпотом, наклоняясь то к одной, то к другой. Настя сидела рядом на краешке стула, держа в руках блюдце с одним пряником, и смотрела на него так, будто он вот-вот зазвучит.

Варвара взяла чашку, пирожок с капустой, подошла к окну. Рядом на низком столике стояла старинная фарфоровая ваза с еловыми ветками, пахнувшими сладко и остро. Она отпила чаю, и в голове у неё, как это бывает после дороги, всё чуть поплыло. Люди, голоса, огни. «Я здесь, – подумала она. – Я в жюри. Я сижу и ничего не делаю, а на меня смотрят». И тут же, следом, другая мысль: «Он сказал: позвони». Сигнала на башне она до сих пор не искала.

– Идёмте на рояль, – сказал Лавров. – Тарас его до семи настраивает. Я хочу послушать.

Рояль стоял в Белом зале.

Сюда её провёл Лавров через две двери и короткий коридор, по которому шагали, торопясь, молодые люди с нотами, и когда он распахнул последнюю створку, Варвара остановилась на пороге. Зал был огромный, высокий, с колоннами вдоль стен, лепным потолком и тремя хрустальными люстрами, пока не зажжёнными. Окна от пола до потолка занавешены белыми шторами. Вдоль стен выстроились ряды складных стульев, на сцене, помосте с красным бархатным занавесом, стояли пюпитры оркестра, а посередине, под единственной включённой лампой на гибкой ножке, блестел чёрный концертный рояль. Крышка его была поднята до упора, и внутри, в тёмном нутре, как в раскрытой пасти, виднелась склонённая спина.

Человек работал, не слыша шагов. Он стоял, согнувшись над струнами, держа в правой руке длинный стальной ключ, а в левой тонкую деревянную палочку, и время от времени касался клавиши, отпускал, наклонял голову набок, слушал, потом ключом подтягивал колок, и звук менялся. Варвара узнала до первой октавы. Потом ре. Звуки возникали и таяли, и каждый из них был чист, как стеклянная капля.

Он был тридцатилетний, худой, сутулый, с тёмными, давно не стриженными волосами, падавшими на лоб, в мятой серой кофте с растянутыми локтями и с засученными рукавами. Руки у него были длинные, жилистые, со светлыми, коротко остриженными ногтями и с тонкими белыми шрамами на левой кисти. Лицо бледное, узкое, с высокими скулами, с глубокими тенями под глазами, и в нём не было ничего ни милого, ни неприятного: просто очень сосредоточенное лицо человека, привыкшего слушать, как звучит металл.

– Тарас Кравец, – тихо сказал Лавров, наклонившись к Варваре. – Из Новгорода. Лучший настройщик в области. Приезжает каждый год на фестиваль.

Варвара замерла.

Слово «настройщик» повернулось внутри неё, как повернулся бы в замке ключ, и из какой-то глубины, из плёса, из тумана, из кают-компании, пахнувшей лаком и еловой смолой, выплыл другой человек, в вязаной кофте, с чайником и круглыми очками, который поправлял их двумя пальцами и спрашивал: «Чаю хотите?» Она не хотела его вспоминать. Она вообще старалась не вспоминать. Но тело помнило само, быстрее мысли, и губы, прежде чем она успела их остановить, прошептали:

– Опять настройщик.

Тарас перестал настраивать. Не обернувшись, не поднимая головы, он положил ключ на струны и сказал тихим ровным голосом, в котором не было ни обиды, ни удивления:

– Я слышал.

– Простите, – сказала Варвара.

– Вы на меня посмотрели, как на что-то опасное.

– Нет. Как на что-то знакомое.

Он выпрямился. Теперь она увидела его глаза, серые, внимательные, очень светлые, с красными прожилками от напряжения. Он смотрел на неё долго и спокойно, как смотрят на настроенный инструмент, проверяя, нет ли дребезга.

– Я никого не убивал, – сказал он. – Я только настраиваю.

Лавров тихо кашлянул. Варвара почувствовала, как по спине у неё прошла дрожь, а потом, неожиданно, на смену ей пришёл смех, нервный, непрошеный, который она задавила в кулаке.

– Простите, – повторила она. – Это не про вас. У меня был один знакомый настройщик. Очень хороший человек. Он сейчас... не в лучшем месте.

– Понимаю, – сказал Тарас и вернулся к роялю. – Бывает.

Больше он ничего не сказал. Но через секунду на клавишах, под его левой рукой, прозвучал аккорд: тихий, широкий, тёплый, до-мажор с добавленной секстой, и он длился дольше, чем нужно, будто человек, давно не касавшийся инструмента по-настоящему, не мог его отпустить. Потом Тарас убрал руку, словно спохватившись, и аккуратно закрыл крышку.

– Вы играете? – спросила Варвара.

– Играл.

– А теперь?

– Теперь настраиваю.

– Это тоже музыка.

– Нет, – сказал он. – Это ремесло. Музыка там, где ты не знаешь, что дальше. А здесь я знаю всегда.

Он подхватил сумку с инструментами и, прежде чем она успела ответить, добавил совсем тихо:

– Рояль хороший. Но он давно не играл по-настоящему. Здесь им пользуются двадцать дней в году. Сегодня он будет звучать. Эдуард Львович слышит.

Он произнёс последнее слово очень ровно. Но на слове «слышит» что-то в голосе дрогнуло, коротко, едва уловимо, как дрожит струна, к которой прикоснулся ветер. Потом он пошёл к выходу, сутулый, лёгкий, неслышный, и скрылся за дверью.

– Бедный мальчик, – сказал Лавров очень тихо, глядя ему вслед. – Был гений. А потом... – Он не договорил. – Идёмте, Варвара Сергеевна. Скоро начнётся.

Открытие фестиваля прошло без Бельского.

Он опоздал, как опаздывали все люди, умеющие обставлять свои появления. Когда в зале погасили люстры и на сцену, под красный бархат, вышли двадцать оркестрантов с тёмными лицами, а потом долговязый подросток в белой рубашке сел за рояль, а потом дети из хора спели что-то про зиму высокими бесцветными голосами, а Громов, вспотевший, в чёрном пиджаке, поднялся на помост и сказал речь, в которой три раза повторил слова «наша усадьба» и дважды «наш уважаемый председатель», на четвёртом ряду всё ещё пустовало кресло. Варвара сидела в первом, между Лавровым и Резниковым, слушала, не слыша, и думала о том, что кресло это надо бы убрать или хотя бы чем-нибудь заложить, потому что в пустоте его было что-то живое, и оно мешало.

Лидия стояла сбоку, у стены, прямая, неподвижная, с блокнотом в левой руке и карандашом в правой. Она записывала не речь и не музыку, а что-то своё, короткими строчками. Один раз Варвара поймала её взгляд: серые глаза скользнули по залу, по лицам, по креслам, остановились на пустом месте в четвёртом ряду и пошли дальше. И карандаш всё стучал по обложке: раз, раз, раз.

Он вошёл в Белый зал в семь сорок две. Варвара не слышала шагов, потому что в этот момент подросток за роялем играл Шопена, но услышала движение: волну, прошедшую по рядам, шорох, как перед грозой, когда у людей одновременно чуть выпрямляются спины. Она оглянулась. В дверях, на пороге, стоял высокий худой мужчина лет шестидесяти семи, в чёрном бархатном пиджаке, белой рубашке без галстука и длинном белом шёлковом шарфе, свободно переброшенном через плечо. Волосы у него были длинные, серебряные, зачёсанные назад, над высоким лбом, лицо узкое, породистое, с тонким носом, и золотая оправа очков блестела в свете настенных бра. Он стоял, не торопясь, чуть наклонив голову, и слушал, а потом, не сказав ни слова, прошёл по проходу к своему месту и сел так тихо, что ни один стул не скрипнул.

Подросток закончил. В зале хлопнули. Бельский не хлопнул. Он просто чуть улыбнулся, одним уголком рта, и поправил на колене складку брюк, и мальчик на сцене, поклонившись, посмотрел именно на него, а не в зал, и в его глазах стояло такое ожидание, что Варваре стало неловко.

Ужин накрыли в том же зале. Помощники Громова сдвинули стулья, раскатали вдоль стен белые скатерти, расставили длинные столы под сверкающими люстрами, и за час огромная комната, где только что слушали Шопена, превратилась в что-то вроде деревенской свадьбы: гул, звон посуды, запах горячего хлеба и жареного лука, десятки голосов. За главным столом, у самой сцены, усадили жюри и приглашённых: рядом с Громовым, на высоком стуле, Бельский; справа от него Резников и Лавров; слева Инга Борисовна с Настей, которых Громов посадил рядом «из особого уважения»; а Варвару, как новенькую, разместили напротив, лицом к председателю, между Лавровым и пустым стулом, на котором к началу ужина никто не сидел. На другом конце стола, скромно, у самого края, на отдельной табуретке, как человек, которого пригласили из вежливости и ждут, что он скоро уйдёт, примостился Тарас.

Лидия не села. Она стояла за спиной Громова, чуть сбоку, как стоят хорошие метрдотели, и время от времени тихо что-то говорила официанткам, указывая карандашом то на один стол, то на другой.

Подали холодец, груздей в сметане, солёные огурцы, нарезанную тонкими ломтями сёмгу, запечённую картошку в мундире, судака, фаршированного грибами, пироги с рыбой и капустой. Варвара ела и слушала. Она всегда слушала, пока ела, и теперь, в этом гуле, пыта-

лась разобрать, о чём говорят вокруг. Резников рассказывал Громову какую-то смешную историю про оркестр в Белграде и размахивал вилкой. Инга Борисовна, чуть наклонившись, что-то шептала Бельскому, который кивал, не глядя на неё, и крутил в тонких длинных пальцах бокал. Лавров ел молча, по-детски сосредоточенно, и когда Варвара передала ему блюдо с грибами, тихо сказал: «Благодарю, Варвара Сергеевна, вы очень любезны». Настя доела картошку и теперь тихонько барабанила пальцами по скатерти, и Варвара с изумлением услышала в этом барабане уверенный, быстрый, виртуозный пассаж из Шопена, сыгранный на дереве.

А Бельский ел мало. Он ел так, как едят люди, для которых обед не удовольствие, а повинность: отрезал крошечный кусочек, жевал долго, запивал водой, смотрел по сторонам. Взгляд у него был внимательный, с едва заметным оттенком скуки. Он смотрел на лица, и лица, на которых он останавливался, менялись: кто-то быстро опускал глаза, кто-то, наоборот, ярче улыбался. Когда его взгляд скользнул по Варваре, она не отвела глаз. Он задержался на ней чуть дольше, чем на остальных, и в нём мелькнуло что-то, чего она не поняла, не любопытство и не неприязнь, а профессиональный интерес, как у врача, который заметил на снимке нечто, о чём ещё рано говорить.

В десять минут девятого он отложил вилку, промокнул губы салфеткой и произнёс негромко, не поднимая голоса:

– Друзья мои.

И зал стих. Не сразу, а волной, от стола к столу, как стихает вода, когда в неё падает камень. Замерли вилки, оборвались разговоры. Бельский подождал, пока тишина осядет, и в этом ожидании чувствовалось умение, отработанное десятилетиями.

– Прежде чем мы начнём нашу работу, – сказал он ровным, бархатным голосом, чуть растягивая гласные, – позвольте мне представить нового члена жюри. Ольга Марковна, как вы знаете, слегла, и мы глубоко сожалеем. На её место приглашена Варвара Миронова. Известная альтистка в тени.

Он улыбнулся ей. Тепло, почти нежно.

– Не в обиду, – продолжил он. – В тени, как известно, прохладнее, и гораздо лучше слышно. Мы все, в сущности, давно хотели услышать, что скажет человек, привыкший молчать. Тем более что ему, как я слышал, было что слушать. Аркадий Соколовский был очень громким музыкантом, а громкие музыканты, как правило, лучше всего слышны тем, кто сидит рядом.

В зале не стало тихо. В зале стало пусто. Это было совсем другое: звук исчез, и остался только гул в ушах, и чей-то далёкий вздох, и треск поленьев в камине у стены. Варвара почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо, горячо и сразу, до корней волос, а потом так же быстро отхлынула. Она сидела, положив руки на колени, и смотрела на Бельского, а он смотрел на неё с той самой тёплой, чуть печальной улыбкой, какой улыбаются люди, сказавшие что-то очень доброе и совершенно убийственное.

Тишину нарушали мелкие звуки. Тихо звякнула ложечка о стакан где-то в дальнем конце зала. Скрипнул стул. Громов прокашлялся. Лавров рядом с ней сжал её колено под столом, коротко, ободряюще, как сжимают руку человеку, садящемуся на трудный экзамен. Резников, до этой минуты смеявшийся, перестал и поставил бокал. Инга Борисовна наклонилась к Насте

и что-то прошептала, но девушка не пошевелилась, а смотрела в тарелку. И над всем этим, прямо за спиной Громова, у стены, ровно, как метроном, продолжал постукивать карандаш: раз, раз, раз. Варвара слышала его так отчётливо, будто он стучал внутри её головы.

Она подождала. Это умение пришло к ней не сразу, она училась ему пятнадцать лет за Аркадием: если тебя ударили словом, не отвечай сразу, дай удару осесть, и тогда ты услышишь, что в нём было на самом деле. В словах Бельского было много. Была вежливость, подчёркнутая до яда. Было умение, с которым он назвал её «известной» и тут же «в тени». Было упоминание Аркадия: нарочное, точное, как укол в нужное место. Но под всем этим, под красивой оболочкой, она расслышала что-то другое, неожиданное: удовольствие. Не злое, не мстительное, а чистое, почти детское удовольствие человека, который любит, когда его слушают.

– Благодарю, Эдуард Львович, – сказала она спокойно.

Голос у неё не дрогнул. Она сама удивилась.

– Вы правы: в тени лучше слышно. Особенно тех, кто говорит громко. Я надеюсь, что за эти дни мы с вами услышим много интересного.

Наступила секунда тишины, а потом Бельский засмеялся. Беззвучно, одними плечами, закинув голову, и серебряные волосы упали ему на воротник.

– Браво, – сказал он негромко. – Она нам подходит.

Он поднял бокал. И тогда зал выдохнул. Загудел, зашуршал, заговорил десятками голосов, как будто кто-то снова открыл дверь, и Громов, красный, вспотевший, торопливо наполнил бокалы и начал говорить про озеро, про лёд, про каток. Инга Борисовна рассмеялась слишком громко. Резников взял вилку и отрезал от судака огромный кусок, как будто собирался сражаться с ним, и в этом движении было что-то яростное.

Но Бельский, поставив бокал, не успокоился. Он повернул голову к Резникову и сказал мягко, почти ласково:

– Дмитрий. Я, кстати, вспоминал вчера ваш дебют. Двадцать лет прошло. Я помню, как вы стояли у пульта, такой молодой, очень красивый, и дирижировали Брамса так, как будто это не музыка, а обещание. Это было очень трогательно.

– Благодарю, – сказал Резников.

Ямочки на щеках у него исчезли. Он смотрел на Бельского прямо, весело, чуть щурясь, и только пальцы, лежавшие на скатерти, сжались так, что побелели костяшки.

– А вы, Всеволод Николаевич, – продолжил Бельский, повернувшись к Лаврову. – Я слышал, у вас новая вещь?

– Да. Симфония.

– Прекрасно. Она, надеюсь, по-прежнему ждёт исполнителя?

Лавров промолчал. Рука, державшая вилку, дрогнула, и на скатерть упал кусочек гриба. Он поднял его двумя пальцами и положил на край тарелки так аккуратно, будто от этого зависела его жизнь.

Бельский переводил взгляд от одного к другому, не торопясь, ласково, как садовник, перебирающий в корзине спелые плоды. Потом посмотрел на Инга Борисовну, на её дочь, на Громова, на край стола, где сидел Тарас, неподвижный, с опущенными глазами, и на секунду, всего на секунду, задержался на нём. Тарас не поднял головы. Но Варвара увидела, как у него дёрнулся угол рта, и как рука, лежавшая на колене, сжалась в кулак и тут же разжалась.

– Ну что ж, – сказал Бельский, откинувшись на спинку стула. – Мы собрались, чтобы слушать. Давайте слушать. Я очень надеюсь, друзья, что в этот раз нам повезёт, и в нашей скромной компании найдётся хоть кто-то, достойный внимания.

И принялся за ужин.

Тут в люстрах мигнул свет. Один раз, коротко, как моргает человек, который что-то вспомнил, и все три люстры качнулись и снова засияли ровно. За окнами, за плотными белыми шторами, взвыл ветер, высоко и протяжно, и в большой комнате на секунду повисло то особое ожидание, которое бывает перед первыми раскатами грома. «Началось», – сказал кто-то. «Циклон», – ответил кто-то другой. Громов вскочил и бросился в коридор, и Варвара услышала его голос: «Игнат Прохорович! Генератор проверьте!»

Лидия, стоявшая у стены, не шевельнулась. Карандаш не перестал стучать.

После ужина Варвара не вышла в холл. Ей хотелось тишины, и она пошла к себе, по длинному коридору второго этажа, мимо дверей с дощечками, за которыми слышались голоса, смех, приглушённая музыка, мимо портретов, на которых сердитые Журавлёвы провожали её сердитыми глазами. Ветер выл за окнами всё громче, и в старом доме что-то поскрипывало, потрескивало и вздыхало, как вздыхает во сне большое животное. На лестничной площадке ей встретился Лавров, который шёл, держась за перила, с тяжёлой папкой под мышкой, и они остановились.

– Не расстраивайтесь, – сказал он. – Он такой с каждым. Он двадцать лет так.

– Я не расстроена.

– Правда?

– Нет, – сказала Варвара. – Мне просто странно. Он сказал это так... красиво. Я ждала, что мне станет больно, а мне почему-то стало интересно.

Лавров посмотрел на неё внимательно, поверх очков.

– Вот поэтому Ольга Марковна и прислала вас, – сказал он. – Спокойной ночи, Варвара Сергеевна.

– Спокойной ночи.

Её комната встретила теплом и запахом берёзового дыма. Игнат Прохорович, видимо, заходил, пока она ужинала: в камине горел новый огонь, ровный, высокий, и на тумбочке стоял кувшин с горячим чаем и тарелка с пряниками. Она сняла туфли, села в кресло, подтянув ноги под плед, и некоторое время просто смотрела на огонь, не думая ни о чём. Потом достала телефон.

Экран показал: «Нет сети». Она поднесла его к окну, подержала над подоконником, у самой рамы, подняла над головой. Ничего. Она вспомнила Лидию: «Телефон здесь ловит только на башне, около шести вечера». Был одиннадцатый час. Она подумала, что надо подняться на башню, но представила себе узкую лестницу, холодный чердак, ветер, и поняла, что не пойдёт. Не сейчас. Завтра. В шесть.

Но написать можно было и сейчас.

Она открыла сообщения, нашла контакт без фотографии, подписанный «Н. Р.», и некоторое время смотрела на пустое поле ввода. Все слова, которые приходили в голову, были слишком большие. «Скучаю» звучало, как ложь, потому что прошло всего двенадцать часов, и как правда, потому что ей казалось, что прошло двенадцать дней. «Как труба?» было глупо. «Тут жюри» было глупо ещё больше. Она написала и стёрла три варианта. Потом, вздохнув, вывела четыре слова, без заглавных и знаков препинания, так, как пишут людям, которые умеют читать между строк:

«Доехала. Тут ёлка»

Нажала «отправить».

Экран мигнул, и под сообщением закрутилось маленькое колесико: ждёт, ждёт, ждёт. Через минуту оно остановилось, и рядом с серой пузырьком появился красный восклицательный знак: «Не доставлено». Она посмотрела на него. Подумала: надо перезвонить, нет, надо перенаправить. Но не стала. Просто оставила его так, на экране, в красной рамочке, нераспечатанным: сообщение, которое никуда не ушло и которое тем не менее было написано. Ей показалось, что так даже лучше. Он получит его, когда получит. Может быть, завтра в шесть, может быть, через пять дней. А она всё это время будет знать, что оно уже есть.

Она положила телефон на тумбочку экраном вниз.

Часы на стене, старинные, с чёрным циферблатом и золотыми стрелками, показывали без пяти одиннадцать. Дом затих. Голоса за дверью умолкли, музыка кончилась, только ветер выл в трубе, и дрова в камине потрескивали ровно, почти ласково. Варвара встала, взяла футляр с кровати, раскрыла его и достала альт. Не играть, просто подержать. Он лёг ей в руки привычной тяжестью, тёплой, живой, чуть шершавой от канифоли. Она провела пальцем по грифу, по струнам, и тихо, на открытом ля, не касаясь смычком, дёрнула струну. Звук получился короткий, чистый, как капля.

Она положила альт обратно в футляр, и взгляд упал на боковой карман.

Молния была застёгнута не до конца, оставляя щель в палец шириной, и в этой щели белел уголок бумаги. Она потянула. Листок вышел в её руку, сложенный вчетверо, тёплый от

камина, чуть помятый после двенадцати часов дороги. Она развернула его. Тот же мелкий прямой штурманский почерк, чёрная ручка, ни одной помарки.

«Позвони. Н. Р.»

Она прочла его в третий раз за сутки. В первый раз утром на кухне, в Липовых Горках, в сером рассвете, с тёплым пирожком под полотенцем. Во второй в автобусе, у Серпухова, когда за окном пошёл снег. Сейчас здесь, в чужой комнате, в чужом доме, под вой чужого ветра. И каждый раз слова оставались прежними, и каждый раз они значили чуть-чуть другое. Утром это была просьба. В автобусе обещание. Сейчас, кажется, что-то третье, чему у неё пока не было названия: тихая уверенность, что где-то за четыреста километров отсюда, в доме с кошками и печкой, есть человек, который ждёт, не требуя.

Она вспомнила другие записки. «Хлеб, молоко, яйца. Прости за вчера». Аркадий писал быстро, красиво, с хвостом на последней букве, и все его записки были про него. Про то, что он чувствовал, про то, в чём каялся, про то, чего хотел. Эта была другая. В ней не было ни одного слова о том, кто писал. Только о ней. «Позвони». Как будто главное, что ему нужно, это чтобы она была слышна.

В коридоре раздались шаги.

Она замерла, держа листок. Шаги были лёгкие, ровные, неторопливые, и в них, поверх скрипа половиц, звучало что-то ещё: тонкое, чистое, хрупкое позвякивание фарфора. Кто-то шёл по коридору с подносом. Шаги приблизились, прошли мимо её двери, не замедляясь, и стали удаляться в сторону лестницы, и звяканье утихало вместе с ними, превращаясь в тонкий, почти неслышный звон. Часы на стене показывали одиннадцать ноль-ноль. Минута в минуту. Варвара слушала, пока шаги не растаяли внизу, потом, по привычке, посчитала: сорок секунд от двери до поворота. Ровно, без остановок. Как идёт человек, который ходит этим путём каждый вечер.

«Чай, – подумала она. – Кому-то несут чай». И тут же устыдилась этой мысли: в большом доме с гостями всегда кому-то несут чай. Она сложила листок вчетверо, как он был, и не стала класть обратно в футляр. Подошла к кровати, откинула толстое одеяло и легла, не раздеваясь, в платье, поверх простыни, натянув на себя плед. Огонь в камине ворчал и вздыхал. За окном ветер то стихал, то налетал снова, бросая в стекло горсти сухого снега, и каждая горсть звенела на одной ноте, тонкой и высокой, как колокольчик в магазине на повороте.

Она положила листок под щёку.

Бумага была гладкая, чуть шершавая, пахла дымом и мылом, которым брился он, и чем-то ещё, неуловимым, что она давно перестала различать как запах и стала воспринимать просто как его присутствие. В темноте, под вой ветра, в чужой комнате, с красным восклицательным знаком на экране, который не светился, но продолжал существовать, она вдруг подумала, что, пожалуй, это впервые в жизни не страшно ехать куда-то одной. Потому что одной она не была. И заснула раньше, чем успела додумать до конца.

Глава 3

Утром ветер уже не выл, а свистел. Ровно, деловито, в каждую щель оконной рамы по очереди, как свистит человек, которому предстоит долгая работа и который не собирается торопиться. Варвара проснулась от этого свиста и несколько секунд не могла понять, где она. Над ней был низкий белый потолок с тёмной балкой, рядом на подушке лежал измятый листок, вокруг стоял холод, какой бывает в комнате, где за ночь прогорел камин. Она лежала в платье, поверх одеяла, укрытая пледом, и левая щека у неё затекла и горела, потому что всю ночь на ней лежала сложенная вчетверо бумага. Когда она отлепила листок от кожи, на щеке остался чёткий квадратный отпечаток сгиба, и она потёрла его ладонью, как стирают с лица след от подушки.

На подоконнике изнутри наросла белая бахрома инея, толстая, пушистая, с острыми кристаллами по краям. За стеклом бежал косой сухой снег, не хлопьями, а крупой, и озеро внизу, которое вчера угадывалось тёмной плоскостью, слилось с небом в одну серую пелену, без горизонта и без берега. Она подошла к окну и подышала на стекло, и в протаявшем круге увидела двор: расчищенную дорожку, кусок ограды, чей-то тёмный силуэт, тащивший к крыльцу корзину с дровами. Силуэт согнулся против ветра почти пополам. Из труб усадьбы валил дым, но ветер срывал его и стелил по крыше, так что издали казалось, что дом дымится целиком.

Телефон лежал на тумбочке экраном вниз. Она перевернула его. «Нет сети». Под сообщением «Доехала. Тут ёлка» по-прежнему горел красный восклицательный знак, и ей почему-то стало легче от того, что он никуда не делся: слова остались на месте, как оставляют на столе вещь, которую ещё не решили куда убрать.

Одевалась она медленно, прислушиваясь к дому. Он просыпался по частям: сначала внизу хлопнула дверь, потом где-то в левом крыле зашумела вода, потом по коридору пробежали лёгкие быстрые шаги и чей-то голос, совсем молодой, крикнул «Миша, у тебя смычок!». Чёрные брюки, серый свитер с высоким воротом, тот, в котором она выглядела строже, чем была, волосы в узел. В тёмном стекле окна она осмотрела себя с головы до ног и сказала вслух: «Жюри». Слово прозвучало так странно, что она засмеялась. Потом достала из бокового кармана футляра записку, перечитала, сложила и сунула во внутренний карман свитера, поближе к груди, где её не заметит никто, кроме неё самой.

В девять завтрак, в десять первое прослушивание. Это значилось в расписании, лежавшем на столе, написанном круглым ровным почерком, и под расписанием стояла приписка: «Просьба соблюдать время. Л. О.».

Лестница в то утро скрипела на разные голоса, потому что по ней сверху вниз тянулась живая цепочка: подростки с футлярами, педагоги в вязаных кофтах, чьи-то матери с термосами и нотными папками, и каждый нёс с собой запах: кто мыла, кто канифоли, кто чужих духов. В холле под огромной ёлкой, на которой ещё горели вчерашние свечи, толпился народ, и у подножия лестницы, там, где вчера Варвара не обратила внимания, стоял тёмный дубовый шкаф с сотней маленьких ячеек, и на каждой ячейке блестела медная табличка с фамилией. Почтовый шкаф. У шкафа, за невысоким столиком, на котором стояла плетёная корзина, в той же синей шерстяной юбке и сером кардигане работала Лидия Орлова.

Она не смотрела на людей. Это бросалось в глаза: вокруг шумели, пихались, спрашивали друг у друга, где столовая, а она стояла прямо, чуть наклонив голову, и вынимала из ячеек бумаги, быстро и бесшумно, раскладывая их на стопки по цветам и размерам. Белые конверты с программами, синие с расписанием, жёлтые бланки для жюри. Рука двигалась, как у пианиста, пассаж в пассажем, и карандаш лежал рядом на блокноте и молчал. Варвара остановилась на нижней ступеньке. «Если бы я не слушала, не заметила бы», – подумала она. Секунду, две, пока Лидия вынимала из самых верхних ячеек что-то серое, плотное, одинакового размера, карандаш лежал неподвижно, а потом она положила конверты в корзину, взяла карандаш, и он снова пошёл: раз, раз, раз.

Конверты были серые. Без марок. Варвара видела их краем глаза: семь штук, не больше, прямоугольные, из дешёвой бумаги, на каждом одна печатная строчка с именем.

– Доброе утро, Варвара Сергеевна, – сказала Лидия, не поднимая головы. – Завтрак в Зелёной столовой, налево по коридору. Почту раздаю за столом.

– Спасибо. Откуда вы знаете, что это я? Вы же на меня не смотрели.

– Вы поставили ногу на третью ступеньку, а она у вас скрипнула по-другому, чем у остальных. Я запоминаю шаги.

Она сказала это без тени шутки, так, как говорят о погоде. Варвара не нашла, что ответить. Лидия кивнула в сторону коридора, и в этом кивке было ровно столько вежливости, сколько нужно, чтобы человек ушёл не обиженным.

Зелёная столовая оказалась комнатой с низкими дубовыми балками и обоями цвета тёмного мха, с длинными столами, накрытыми льняными скатертями, и с буфетом у стены, на котором в медных кастрюльках дымились каша, сырники и яичница с копчёным салом. В больших окнах, выходивших на озеро, стояла серая муть, и по подоконникам дул сквозняк, от которого дрожали огоньки свечей в стеклянных колпаках. Народу набилось много, и гул стоял такой, что приходилось наклоняться к соседу, чтобы расслышать. Жюри сидело за столом у окна. Варвара подошла как раз в ту минуту, когда Резников, в сером свитере с закатанными рукавами, поднимал над головой чашку кофе, чтобы показать ей свободное место.

– Сюда! Варвара Сергеевна, я вам стул держу, как верный пёс. Эдуард Львович ещё не спустился, так что можно говорить о нём плохо.

– Я о нём не собираюсь.

– Тем хуже. – Он рассмеялся и отодвинул стул. – У меня с утра приподнятое настроение. Я выспался. В этой усадьбе такие подушки, что хочется умереть счастливым.

Рядом, у самого края, сидел Лавров. Он ел овсянку из большой фаянсовой тарелки, медленно, сосредоточенно, придерживая ложку обеими руками, и, увидев Варвару, поднял глаза и улыбнулся одними мешками под ними. Выглядел он так, как выглядят люди, не спавшие всю ночь и хорошо это скрывающие. Папку свою он поставил рядом на стул, придвинув к себе вплотную, и Варвара заметила, что бечёвка на ней завязана иначе, чем вчера: другим, более сложным узлом.

За соседним столом Инга Борисовна Вольская, в голубом шерстяном костюме и с безупречно уложенными волосами, наливала дочери чай. Настя сидела прямо, как на экзамене, и ела тост по крошечным кусочкам. Тарас Кравец в столовой не появился. Громов, красный и взъерошенный, носился между столами с чайником, пока наконец не плюхнулся на стул рядом с Резниковым и не выдохнул: «Генератор проверил. Игнат Прохорович говорит, что до завтра хватит, а там посмотрим». – «До завтра чего?» – спросил Резников. – «До конца метели». – «Какой метели?» – «Той, которая начнётся к вечеру». – «Вы нас пугаете». – «Я предупреждаю».

В девять двадцать у входа показалась Лидия с плетёной корзиной на сгибе локтя, и гул, не стихнув совсем, перестроился: головы повернулись, как поворачиваются подсолнухи за солнцем, и по залу прошло то лёгкое оживление, какое бывает при виде официанта с горячим. Почту здесь любили. Это была единственная связь с внешним миром, и всякий раз, когда в корзине оказывалось что-то личное, люди ждали с замершим дыханием.

Она начала с дальних столов. Шла медленно, ровным шагом, не глядя по сторонам, как идёт по сцене человек, знающий свою партию наизусть, и у каждого стола останавливалась, вынимала конверт, сверялась с блокнотом, который держала в левой руке, и произносила имя. Тихо, внятно, без интонации. «Миша Горелов. Вам расписание». «Соня Лебедева. Вам программа». «Елена Аркадьевна, вам письмо из Новгорода, по-моему, из министерства». Она называла педагогов по имени-отчеству, детей по имени, и ни разу не ошиблась, ни разу не заглянула в список. Варвара видела, как мальчик со скрипкой, получив конверт, уставился на неё с благоговейным ужасом: «Откуда она знает, как меня зовут?» «Она всех знает», – шепнула ему девочка с виолончелью.

Когда Лидия дошла до стола Вольских, корзина у неё на локте была ещё наполовину полна. Она остановилась, заглянула в блокнот и сказала:

– Инга Борисовна, вам письмо. Анастасия, вам тоже.

Она протянула два серых конверта, и Варвара, следившая за ней из-за кофейной чашки, заметила, что руку Лидия держит прямо, не дрогнув, и смотрит не на лица, а на конверты, а когда Инга Борисовна взяла свой, взгляд её скользнул дальше, мимо.

Инга Борисовна раскрыла конверт спокойно, аккуратно, ногтем, как вскрывают то, что давно ждали. Вынула листок. Развернула. Прочла. Лицо её не изменилось, только улыбка, до сих пор висевшая на нём, как приклеенная, стала очень тонкой, а губы побелели. Она медленно сложила листок втрое, положила в сумочку, щёлкнула замком и взяла чашку. Рука, державшая чашку, чуть дрожала, и на блюдце плеснуло.

Настя читала дольше. Конверт она вскрыла неумело, надорвав угол, и пальцы у неё были такие длинные и худые, что листок в них казался детским. Прочитала раз, второй. Лицо у неё стало другим: не бледным, а каким-то опустошённым, как лицо человека, которому вернули что-то давно потерянное и не смогли объяснить, что с этим делать. Потом она подняла глаза на мать.

– Дай сюда, – сказала Инга Борисовна ровным шёпотом, одними губами.

– Мам, это мне.

– Настя. Дай.

– Это...

– Я сказала.

Они смотрели друг на друга секунду или две, и за эти секунды Варвара успела услышать всё, что могло бы быть сказано вслух: и приказ, и обиду, и многолетний, привычный, тяжёлый спор, в котором одна всегда уступает. Настя отпустила листок. Инга Борисовна взяла его двумя пальцами, как берут что-то, что может испачкать, сложила и сунула в ту же сумочку, поверх своего. Потом наклонилась к дочери и сказала громко и весело, на весь стол:

– Рекламная рассылка, милая. Скидки на ноты. Ешь тост.

Настя не ответила. Она смотрела в окно, где мело, и по щекам её, без всхлипа, без дрожи, не меняя выражения лица, текли слёзы.

За столом жюри в это время происходило своё. Лидия положила перед Лавровым конверт и сказала: «Всеволод Николаевич». Он поблагодарил её тем же тихим голосом, каким благодарил за чай в автобусе, и взял конверт двумя руками. Открыл не сразу, а подержав, как держат то, что может оказаться лекарством или приговором. Достал листок, поднёс к лицу, прищурился и прочёл. Это заняло у него секунд десять. Потом он закрыл глаза, коротко, будто от яркого света, снова открыл, сложил бумагу вдвое, ещё раз вдвое и положил в папку, развязав и снова завязав бечёвку тем самым сложным узлом.

– Благодарю, Лидия Павловна, – сказал он.

– Пожалуйста, Всеволод Николаевич.

– Дмитрий Олегович, вам.

Резников взял конверт небрежно, подкинул на ладони, как взвешивают монету, и ловко вскрыл большим пальцем. Он читал, продолжая улыбаться, и улыбка на его лице держалась ровно, на том же месте, но Варвара, сидевшая рядом, слушала не лицо, а дыхание, и ей показалось, что он перестал дышать. Секунду, не больше. Потом выдохнул, засмеялся, коротко и звонко, как смеются над хорошим анекдотом, и сказал, ни к кому не обращаясь:

– Любовное послание. Поклонница из Новгорода. Двадцать лет не писала.

Он смял листок в кулаке и сунул в карман брюк.

Громов, получивший свой, прочёл его стоя, с кофейником в одной руке, и лицо у него вытянулось. Он поставил кофейник на стол, вытер ладонью лоб и сказал, глядя поверх голов: «Счета». Прозвучало это так обречённо и так естественно, что никто не засмеялся. Он сунул конверт в карман пиджака и сел.

– Варвара Сергеевна, – сказала Лидия.

Она стояла прямо за её стулом. Варвара не слышала, как она подошла. Протянутая рука держала такой же серый конверт, как у остальных, без марки, без штемпеля, и на лицевой стороне, ровно посередине, печатными буквами с чуть неровным нажимом стояло: «Мироновой В. С.».

– Спасибо, – сказала Варвара.

– Пожалуйста.

– Откуда он? – спросила она тихо.

– Лежал в ячейке с утра.

– Кто его положил?

– Я не следила за ячейками ночью, – сказала Лидия. – Если хотите, спросите у Игната Прохоровича, он топит печи с пяти и проходит через холл. Но он, как правило, смотрит только на дрова.

Она отошла. Варвара смотрела ей вслед, на прямую спину в сером кардигане, и вдруг поняла, что за эти двадцать секунд женщина не посмотрела ей в глаза ни разу. Не потому что прятала взгляд: просто не считала нужным. Это было удивительно спокойное, ровное, почти деловое равнодушие, с каким хороший почтальон опускает письма в ящики, не интересуясь, что там внутри.

Конверт она вскрыла под столом, на коленях, прикрывая ладонью, как вскрывают то, что не предназначено для чужих глаз. Внутри лежал сложенный втрое полулист плотной жёлтоватой бумаги, и, развернув его, Варвара увидела одну строчку, напечатанную на машинке, ровными бледно-чёрными буквами, с большим полем слева.

«Вы слышите больше, чем говорите».

Она прочла один раз. Потом, не отрываясь, второй. Фраза была короткая, без знаков вопроса и восклицания, без подписи, без даты, и именно её простота тревожила сильнее, чем любая угроза. Варвара поймала себя на том, что смотрит не на слова, а на буквы. В слове «слышите» последняя «е» стояла чуть ниже остальных, как будто спустилась на полстроки и не вернулась на место. В слове «больше» тоже. И в «чем», и в «говорите». Четыре буквы «е», и каждая провалилась ниже линии. Остальные буквы стояли ровно, а эта западала, упрямо, одинаково, как западает неисправная клавиша.

Она подняла голову. Через стол, на уровне её глаз, сидел Резников и смотрел на неё. Он держал вилку на весу, и в голубых, смеющихся глазах не было ни смеха, ни вопроса. Просто несколько секунд они глядели друг на друга, два взрослых человека, и каждый знал, что другой только что получил то же самое, и каждый ждал, что скажет первым. Потом одновременно, как двое школьников, пойманных на обмене записками, они опустили руки под стол и спрятали конверты по карманам. Резников ухмыльнулся и подмигнул, быстро, невесело. Варвара едва заметно покачала головой.

– Кто-нибудь ещё что-нибудь получил? – спросил Громов в наступившей паузе, слишком громко и слишком бодро.

Никто не ответил. Над столами повисла та особая тишина, которая бывает в комнате, где каждый чувствует себя виноватым в чём-то своём и подозревает остальных в том же.

Дверь в Зелёную столовую открылась, и вошёл Бельский.

Он вошёл так, как входил вчера, не торопясь, чуть наклонив голову, в чёрном бархатном пиджаке и белой рубашке, с серебряными волосами, зачёсанными назад, и белым шёлковым шарфом, который сегодня был перекинут через левое плечо. Люди расступились. Он прошёл к столу жюри, сел на своё место в центре, спиной к окну, так что серый свет озера лёг ему на плечи, и официантка в ту же секунду поставила перед ним чашку чёрного кофе без сахара. Он взял её, понюхал, сделал глоток и только тогда поднял глаза.

Лидия подошла к нему со стопкой бумаг, обвязанной резинкой, и сказала ровно:

– Эдуард Львович. Ваша корреспонденция.

– Благодарю, Лидия Павловна.

– Больше ничего.

– Прекрасно.

Он взял стопку, не глядя, положил рядом с чашкой, и Варвара заметила, что именно сейчас, в эту секунду, карандаш у Лидии за спиной, на блокноте, снова чуть заметно постучал. Раз. Раз. Раз.

Бельский медленно оглядел стол. Взгляд его прошёл по Резникову, который сосредоточенно намазывал на хлеб масло; по Лаврову, опустившему глаза в овсянку; по Варваре, которая взяла чашку, чтобы чем-то занять руки; по Громову; по соседним столам, где Инга Борисовна вдруг очень оживлённо заговорила с учительницей виолончели о ставках, а Настя смотрела в окно. На лице его, породистом, холёном, с золотой оправой очков, возникло выражение, которое Варвара определила не сразу: так смотрят на стеклянный ящик, в котором что-то шевелится.

– Знаете, – сказал он мягко, не обращаясь ни к кому, размешивая в чашке несуществующий сахар, – по моему глубокому убеждению, почтовый день самый поучительный день в любой гостинице. Видно, кто кого боится.

Никто не ответил. Только Резников хмыкнул и потянулся за ножом, да Лавров поднёс ко рту ложку и тут же положил её обратно.

– Прошу прощения, – сказал Тарас Кравец, остановившись в дверях. Он был в той же серой растянутой кофте, с чёрными кругами под глазами и мокрыми от снега волосами. – Я рояль заканчивал. Не опоздал?

– Тарас Витальевич, – сказала Лидия, подходя к нему с последним серым конвертом. – Вам.

Он взял его, не поблагодарив, и вскрыл прямо там, в дверях, не отходя. Читал, стоя неподвижно, чуть наклонив голову, как слушают далёкий звук. Лицо у него не изменилось. Ничего не дрогнуло, ни губы, ни веки. Только пальцы, державшие бумагу, медленно, очень медленно сжались в кулак, сминая её с одного края, а потом разжались, и он сложил листок и убрал в нагрудный карман кофты, туда, где у других лежат ручки.

– Благодарю, Лидия Павловна, – сказал он.

– Пожалуйста. В десять Белый зал, рояль нужен готовым.

– Он будет готов.

Он прошёл к краю стола, сел на табуретку и взял из корзины кусок хлеба. Ел он механически, глядя в стену.

Варвара опустила руку в карман, пощупала сложенную вчетверо записку, которая лежала там же, рядом с серым конвертом, и вдруг ясно поняла, что кто-то в этом доме уже выбрал её. Не для угрозы и не для испуга, это она слышала по ровной фразе, в которой не было ничего злого. Для слушания. Человек, напечатавший эту строчку на старой машинке, знал, что она придёт, знал, что сядет за этим столом, и знал, что поймёт. «Вы слышите больше, чем говорите». Не «вы виноваты» и не «вы знаете», а констатация, как диагноз. Пригласили слушателя. И ждут, когда он начнёт.

В коридоре за столовой было тихо и холодно. Здесь, у окна с выходом на заднюю лестницу, сквозило так, что пламя в настенной лампе пригибалось, и стёкла чуть звенели в такт ветру. Лавров стоял у подоконника, спиной к залу, держа в руках папку, и смотрел на метель. Варвара подошла, остановилась рядом. Молчали они долго, и это было, как в автобусе, спокойное молчание двух людей, которым не нужно объяснять.

– Мне не хочется вам показывать, – сказал он наконец.

– Я не просила.

– Знаю. Но вы всё равно слушаете. – Он слабо улыбнулся. – Вам тоже пришло, я видел. Вы с Дмитрием Олеговичем одновременно спрятали руки. Это было очень трогательно.

– У вас что?

Лавров не ответил сразу. Он стянул с папки бечёвку, раскрыл её, пошарил между нотными листами и вынул серый конверт, уже смятый, уже побывавший в чужих пальцах. Из него достал листок и протянул Варваре, не глядя.

«Симфония господина Лаврова беспомощна в том смысле, в каком беспомощен человек, потерявший в темноте собственные руки. Автор, кажется, до сих пор не понял, что оркестр существует не затем, чтобы извиняться».

Варвара прочла. «Е» в слове «симфония» не было, зато в слове «господина» была: «о», «с», «п», «о», «д», «и», «н», «а». Нет. Но в «беспомощна», в «потерявший», в «затем» они встречались, и везде проваливались ниже строки, одинаково, как у фразы в её собственном конверте. Она вернула листок.

– Это из «Музыкальной жизни», – сказал Лавров. – Март две тысячи четвёртого. Целый разворот. Мою Третью симфонию играл Государственный оркестр под Рождественским, это была первая и последняя моя премьера. Я пришёл на следующий день на репетицию, а дирижёр уже знал. Не потому, что прочёл, а потому, что вся Москва прочла. – Он аккуратно сложил письмо. – С тех пор моих вещей не играли. Двадцать лет. Я писал в стол. Для себя, для жены, пока она была жива.

– Мне жаль.

– Не жалейте, – сказал Лавров. – Это, понимаете, не жалость. Просто так бывает с людьми, у которых нет нужной кожи. Бельский не был неправ в том, что написал. Он был неправ в том, как. В музыке, видите ли, можно сказать всё, только не нужно говорить это так, чтобы человек замолчал.

Он замолчал сам. Потом, глядя на метель, добавил тише:

– Мне стыдно. Знаете, чего? Когда я утром прочёл эту строчку, у меня на одну секунду, на одну, стало радостно. Кто-то помнит. Кто-то двадцать лет помнит мою симфонию, пусть даже эту её рецензию. Это ужасно. Я сам понимаю, что это ужасно.

– Это не ужасно, – сказала Варвара. – Это человеческое.

– Вы очень добрая.

– Я просто слушаю.

Они опять помолчали. За окном, в серой мути, проплыла чья-то фигура с лопатой: Игнат Прохорович расчищал дорожку.

– Посмотрите на буквы, – сказала Варвара. – «Е». Видите, как она падает?

– Вижу. Я заметил ещё в столовой. – Лавров повернулся к ней, и в усталых глазах его появилось что-то живое, острое. – Это «Эрика». Старая, немецкая, с литерами из мягкого сплава. У меня такая была лет тридцать, я печатал на ней сопроводительные письма в Союз композиторов. У неё как раз «е» западала. Клавиша стареет, рычаг выскальзывает из зацепления, и буква садится ниже. Её чинили в мастерской на Покровке, но она всё равно западала. Я бы узнал этот шрифт среди тысячи.

– В усадьбе есть такая?

– В библиотеке. Роман Игоревич вчера рассказывал. Стоит на подоконнике под льняной салфеткой. Гости иногда печатают открытки. Игнат Прохорович смазывает её по весне. – Лавров поправил очки. – Библиотека не запирается до полуночи.

– То есть любой.

– Любой, у кого есть минута и желание. Или ключ. – Он помолчал. – Вы думаете, это здесь?

– Я думаю, что человек, который хотел собрать все обиды в одном доме, должен был где-то их напечатать.

Она сказала это и сама удивилась, как легко и точно прозвучало: «собрать все обиды в одном доме». Это сложилось у неё в голове мгновенно, без усилия, как складывается мелодия после пары нот. Лавров смотрел на неё серьёзно, почти строго.

– Вы мне скажете, если услышите? – спросил он.

– Что?

– Кто.

Варвара не ответила сразу. В коридоре стало тихо, только в трубе завыл ветер, высоко, протяжно, и стёкла в окнах отозвались тонким дребезжанием.

– Скажу, – сказала она.

Прослушивание началось в десять ноль пять.

Белый зал в дневном свете выглядел иначе. Вчера, под люстрами, это был праздничный зал для концерта и ужина, а сегодня, когда все шесть высоких окон пропускали серый, сеющийся, как через сито, свет, а на помосте, под красным занавесом, стояли оркестровые пульты, он напоминал огромную классную комнату, где вот-вот начнётся важный экзамен. Рядов стульев стало вдвое меньше: люстры погасили, оставив только бра, и в зале стоял сумрак, в котором белели колонны. Перед сценой, лицом к залу, расставили длинный стол, накрытый зелёным сукном, и на нём разложили чистые листы, остро заточенные карандаши, графины с водой и стопки бланков с колонками: «Техника», «Музыкальность», «Артистизм», «Программа», внизу итог, и в каждой колонке ячейка с цифрой «25».

Бельский сел в центре. Справа от него Резников, слева Лавров, а Варвара, как новенькая, на краю, рядом с Лавровым, так что отсюда ей был виден и весь зал, и красный бархат, и участники, ожидающие у боковой двери. Громов не пришёл: у него было слишком много хозяйственных дел. Лидия сидела за маленьким столиком сбоку, перед ней лежали блокнот, секундомер и список с фамилиями, и она вызывала по очереди, тихо, без микрофона, и слышно было каждое слово.

– Правила простые, – сказал Бельский, откинувшись на спинку стула. – Слушаем. Пишем. До перерыва не разговариваем. Оценки выставляем независимо, итоговый результат объявляется послезавтра, тридцать первого, перед балом. Всё остальное, – он улыбнулся, – по обстоятельствам.

Первым вышел Миша Горелов, тот самый подросток со скрипкой, который вчера спал в автобусе с открытым ртом. В белой рубашке, застёгнутой на все пуговицы, с мокрыми от

волнения висками, он встал у пульта, поднял скрипку и сыграл первую часть Мендельсона так, как играют люди, которым сказали, что надо быстро: очень чисто, очень технично, чуть лихорадочно, торопясь, чтобы успеть. Он не ошибся ни разу. На последних тактах рука у него дрогнула, и звук на секунду стал сухим и тонким, но он выровнял его и закончил с таким облегчением, что в зале кто-то засмеялся.

Варвара писала. Колонки заполнялись сами: двадцать два, двадцать, двадцать, двадцать один, итого восемьдесят три. В графе «замечания» она на секунду задумалась и написала: «Вы очень хорошо играете то, что умеете. Теперь можно попробовать сыграть то, чего ещё не умеете». Потом перечитала, поморщилась: слишком похоже на тётин стиль. Но стирать не стала.

Бельский писал быстро, не глядя, тонкой чёрной ручкой, и каждый раз, окончив запись, подчёркивал её одной линией. Лавров, наоборот, писал медленно, обдумывая каждое слово, и, как заметила Варвара краем глаза, под каждой оценкой, даже самой низкой, неизменно ставил внизу: «Спасибо». Резников рисовал. Она видела, как под рукой у него на полях бланка возникают маленькие смешные человечки с огромными смычками, и как он, спохватившись, обводит их в рамки.

Вторым был ансамбль из трёх девочек, игравших Гайдна с такой старательностью, что слышалось, как они считают. Потом скрипач с заиндевевшими от волнения очками, потом пианистка лет четырнадцати, которая сыграла этюд Шопена и на последней ноте тихо заплакала. Дошла очередь до Сони Лебедевой.

Девочка с виолончелью вышла к пульту, как выходят на эшафот. Она была совсем маленькая, худая, с тонкой косичкой, в чёрной бархатной юбке, которая, судя по всему, принадлежала старшей сестре, и в белой блузке с воротничком. Она села, прислонила виолончель к плечу, подняла смычок, и Варвара увидела, что рука у неё трясётся мелко и часто, как у человека на сквозняке. Соня сыграла Прелюдию из Первой сюиты Баха. Сыграла чисто, ровно, без единой ошибки, но с таким странным, виноватым выражением, что у Варвары сжалось горло. Каждую ноту она брала, как будто просила прощения у композитора: чуть-чуть робко, чуть-чуть тише, чем нужно, придерживая звук, чтобы не потревожить. «Простите, это, наверное, не так». «Простите, я не уверена». «Простите, простите».

В голосе виолончели не было девочки. Была только вежливость.

Варвара закрыла глаза на секунду и услышала шестнадцатилетнюю себя, в тесном классе на втором этаже, с Хиндемитом, который она играла безупречно и с неохотой, как возвращают долг. И голос сухой женщины в дымчатой шали: «Ты играешь так, как будто извиняешься за каждую ноту. Не извиняйся. Они не твои, их написал Хиндемит».

Она открыла глаза и написала в графе «замечания», крупно, твёрдо, нажимая на карандаш:

«Не извиняйтесь. Эти ноты не ваши, их написал Бах. Вы просто их несёте. Но дышите, пожалуйста: вам разрешено».

Поставила оценки: двадцать три, двадцать два, двадцать два, двадцать три. Девяносто. Подчеркнула. Соня закончила, встала, неловко поклонилась и, не поднимая глаз, ушла за кулисы, прижимая виолончель к груди, как ребёнка. В зале раздались редкие хлопки.

– Спасибо, – сказал Бельский своим бархатным голосом. – Следующий.

Он не поднял головы. Но когда перед ним положили собранные листы, чтобы подсчитать среднюю оценку, а Лидия, не меняя выражения, начала раскладывать их стопками, рука его, вынимавшая бланк Варвары, остановилась. Он перевёл взгляд на запись в графе «замечания», пробежал её и, подняв бровь, прочёл вслух, негромко, как читают строку, на которой споткнулись:

– «Не извиняйтесь. Эти ноты не ваши, их написал Бах».

Резников повернулся. Лавров перестал писать.

– Кто вам это сказал? – спросил Бельский.

Он смотрел на Варвару. Не злобно и не насмешливо, а с тем самым внимательным, почти научным интересом, с каким вчера разглядывал её на ужине.

– Ольга Марковна, – сказала Варвара. – Давно. В училище. Только тогда это был Хиндемит.

– Старая школа, – сказал он после паузы. – Она всегда так говорила. Я слышал это от неё лет двадцать пять назад, когда она разбирала мою рецензию на какого-то скрипача. Сказала: «Эдуард, вы пишете так, как будто человек играет не для вас, а против вас. Они не против вас играют. Они играют ноты». Я тогда обиделся. – Он слабо улыбнулся. – Хорошая женщина. Передавайте ей поклон, когда выздоровеет.

– Передам.

– Но оценки вы всё-таки завысили, – сказал он, вернув бланк. – Среднее, Варвара Сергеевна, это вежливость. Реальность находится ниже. У меня восемнадцать. Привыкайте. Первая встреча с реальностью всегда болезненна.

– Я не привыкаю, – сказала Варвара. – Я слушаю.

Он ещё раз посмотрел на неё, потом коротко кивнул и вернулся к бумагам. Лавров под столом на секунду коснулся её руки.

В перерыве, в половине двенадцатого, она вышла на площадку лестницы подышать. Здесь тянуло из-под окна холодом, и пахло от ёлки смолой, и сверху, с галереи, доносились обрывки чьих-то разговоров. Резников догнал её у перил с двумя чашками кофе, и вид у него был такой, как будто он сам себе чашки вырвал из рук у судьбы.

– Тёмный, без сахара, – сказал он, протягивая ей одну. – Вам, по-моему, подходит.

– Спасибо.

– Я не буду спрашивать, что у вас в кармане.

– Тогда и я не буду.

Он засмеялся и облокотился на перила рядом с ней. Они стояли, пили кофе, глядя на ёлку, на игрушки, на ватную Снегурочку, у которой отваливалась рука. Резников молчал минуты две, и это было странно, потому что весь предыдущий день он не замолкал ни на секунду.

– «Реклама», – сказал он наконец. – Я так сказал, помните? За завтраком.

– Помню.

– Это была плохая шутка.

– Я так и подумала.

– А хорошая будет такая. – Он смотрел в чашку. – Когда мне было двадцать четыре, я дирижировал в Большом зале консерватории Первую симфонию Брамса. Три месяца репетировал каждую ночь. Спал по четыре часа. Пришёл на сцену весь мокрый, как мышь, и сделал всё, что умел. А утром нашёл в газете: «Господин Резников, по-видимому, убеждён, что Брамса достаточно любить, чтобы им дирижировать. Это заблуждение, которое обычно проходит вместе с юностью. У некоторых вместе с карьерой». – Он помолчал. – Двадцать лет. Я эту строчку знаю лучше, чем таблицу умножения.

– И вы всё-таки стали дирижёром.

– Вот именно, – сказал Резников. – Всё-таки. Это хуже, чем ничего. Если бы у меня не получилось, я мог бы злиться. А так я всю жизнь доказываю, что он был неправ. И чем лучше получается, тем отчётливее понимаю: я доказываю это не ему.

Он поднял голову и улыбнулся, но ямочки на щеках не появились.

– Вы не должны были мне рассказывать, – сказала Варвара.

– Знаю. Но вы слушаете. С вами хочется. – Он вдруг стал серьёзным, и в голубых глазах, обычно смеющихся, проступило что-то холодное и усталое. – Послушайте. Если вы услышите, кто это написал, скажите мне. Первому.

– Зачем?

– Чтобы я успел поблагодарить, – сказал он. – Или набить морду. Ещё не решил.

– Вы не набьёте.

– Нет, – согласился он, снова улыбнувшись. – Я человек культурный. Скорее напьюсь.

Он допил кофе, поставил чашку на подоконник и ушёл обратно в зал, а Варвара осталась стоять, чувствуя, как внутри нарастает странное, непривычное ощущение: ей рассказывали вещи, о которых не просили, и она не знала, что с ними делать. Не знала, но слушала.

До пяти часов они прослушали тринадцать человек. К пяти у Варвары болела спина, ныли пальцы, сжимавшие карандаш, а в голове звучали обрывки мелодий, наложенные друг на друга, как плохо настроенный оркестр. Бельский, ни разу не усталый, ни разу не растерянный, всё это время сидел идеально прямо, писал свои короткие, точные заметки и несколько раз, не поворачивая головы, произнёс фразы, от которых у ожидавших на скамье подростков бледнели лица: «Мило. И только». «Чистота, как известно, не заменяет смысла». «Господин Новиков, пауза существует не для того, чтобы вы успели вспомнить следующую ноту».

В четверть шестого Варвара вышла на лестничную площадку. Хотелось одного: сесть, закрыть глаза и несколько минут никого не слышать. На повороте, там, где лестница делала широкий изгиб и в нише стоял старинный дубовый сундук, на сундуке, поджав ноги, сидела Настя.

Она сидела боком, прислонившись спиной к стене, в серой вязаной кофте поверх чёрного платья, с растрёпанной косой, и пальцы её правой руки бежали по колену. Быстро, ровно, без ошибок: Варвара узнала левую партию из Шопена, коварную, с широкими скачками. На другом колене лежал серый листок, развёрнутый. Увидев Варвару, девушка не вздрогнула и не спрятала бумагу. Только руки её остановились.

– Вы единственная, кто на меня не смотрит, – сказала она.

Голос был тот же, низкий, усталый.

– Я смотрю.

– Нет. Вы смотрите мимо. Остальные смотрят в меня. Как в рентген.

Варвара села рядом на сундук. Он был жёсткий, холодный и пах старой кожей.

– Мама сказала, что это реклама, – сказала Настя.

– Я слышала.

– Она всегда так говорит. – Девушка протянула листок. – Прочтите. Мне хочется, чтобы кто-нибудь прочёл вслух. А то я только про себя.

Варвара взяла бумагу. Та же машинка, те же бледные буквы, то же поле слева. Строка была короткая.

«У девочки отличный слух. Остальное, как правило, покупается».

Под строкой стояла дата: «Музыкальная жизнь, 2018» и номер страницы. Варвара прочла вслух, тихо, ровным голосом, как читают в классе диктант. Настя слушала, смотря прямо перед собой.

– Это он обо мне написал, когда мне было тринадцать, – сказала она. – Не в рецензии, а в обзоре. «Детские дарования». Там были ещё пять фамилий. Моя стояла третьей. Это, понимаете, была шутка. Все смеялись. Мама тоже смеялась.

– И что?

– А теперь это правда.

Она произнесла это очень просто, без нажима, глядя в нишу, где под потолком горела тусклая лампочка. Варвара не пошевелилась.

– Я не покупала, – продолжала Настя. – Я с двух лет за роялем, мне ничего не нужно покупать. Но мама покупала. Рецензии. Он писал хорошо, потому что мама ему платила, а я узнала об этом в прошлом году. Нашла переписку в её почте. «Эдуард Львович, цена прежняя, жду отзыва до пятнадцатого». А он отвечал: «Цену обсудим при встрече. Победу обсудим отдельно».

– Это...

– Он обещал победу. В этот раз. Тридцать первого, на закрытии. – Она подняла глаза, и в них, серых, сухих, стоял странный холодный блеск. – Я не хочу победы. Я хочу, чтобы кто-нибудь сказал, что я играю не потому, что мама заплатила. А единственный человек, который может это сказать, он.

Она замолчала. Её пальцы снова легли на колено и поползли по невидимым клавишам.

– Вы мне скажете? – спросила она. – Завтра, когда я сыграю. Только правду. Хорошо или плохо. Я не обижусь.

– Скажу.

– Обещаете?

– Обещаю.

Настя кивнула и вдруг, впервые за все эти два дня, улыбнулась, очень слабо, одними уголками рта, и в этой улыбке проступила та самая девочка, которая вчера, в автобусе, взяла пирожок двумя руками. «Спасибо. Я пойду, а то мама ищет». Она встала, сунула листок в карман кофты и ушла вниз по лестнице, быстро, лёгко, и Варвара, оставшись на сундуке, подумала о том, что за один день на неё обрушилось столько чужого, что для собственного места почти не осталось. И вдруг поняла, что это то самое: слышать больше, чем говоришь. И что отказаться от этого, наверное, нельзя.

В половине шестого она вернулась в Белый зал за забытым шарфом. Прослушивание кончилось, участники разошлись ужинать, жюри ушло в Золотую гостиную пить чай, и огромный зал стоял пустой, тёмный, тихий, с белеющими в сумраке колоннами. Только в дальнем углу, у рояля, горела одна лампа.

Тарас стоял, облокотившись на закрытую крышку. Руки его лежали рядом, ладонями вниз, и он смотрел на них так, как смотрят на чужие вещи. Услышав шаги, он не обернулся.

– Шарф, – сказала Варвара. – Я оставила.

– На стуле.

Она взяла шарф, но не ушла. В зале стоял холодок, и пахло воском и пылью, и в тишине слышно было, как за стенами усиливается ветер.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.